

М. КУЗМИНЪ.

891.71

К 89

ВОЕННЫЕ РАЗСКАЗЫ

.....
АНГЕЛЪ СЪВЕРНЫХЪ БРАТЬ. — СЕРЕНАДА
ГРЕТРИ. — ПАСТЫРЬ ВОИНСКІЙ. — КИРИ-
КОВА ЛОДКА. — ПРАВЯЯ ЛАМПОЧКА. —
ДВА БРАТА. — ТРЕТІЙ ВТОРНІКЪ. — ПЯТЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ.
.....

ПЕТРОГРАДЪ.
1915.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР

8322

IV



Пгт. Рыбачья, 10.

Ю. Р. ЮРКУНУ.

**АНГЕЛЪ
СЪВЕРНЫХЪ ВРАТЬ.**

Послѣдній поѣздъ уходилъ, увозя бѣглецовъ изъ города. Слухи о близости и звѣрствѣ враговъ тревожили тѣмъ болѣе, чѣмъ были разнорѣчивѣе и неprovѣрениѣе. Желавшіе уѣхать толпою жили на вокзалѣ, ожидая своей очереди. Буфетъ не успѣвалъ возобновлять сѣѣстные запасы, и кипятокъ изъ огромнаго бака на дворѣ сейчасъ же разбирали по чайникамъ, не давая времени перелить его въ большіе самовары. Дѣти и женщины сидѣли укутанной кучей на уздахъ, мужчины, поднявъ воротники пиджаковъ, руки въ карманы, разсуждали о послѣднихъ слухахъ и смотрѣли на дымокъ надъ лѣсомъ, не зная, очередной ли это поѣздъ, или уже признаковъ приближающагося непріятеля. Но несмотря на видѣ катастрофы, на вокзалѣ было увѣрениѣе и даже веселѣе, чѣмъ въ городѣ, гдѣ оставалась только бѣднота, больные, или не терявшіе времени лавочники. Пользуясь безлюдьемъ, по улицамъ бродили куры, сохранявшія наибольшее спокойствіе; собаки, тѣ волновались ужасно. Расхрабренная курица взлетѣла даже на невысокіи подоконникъ открытаго окна; чья-то худая рука равнодушно махнула и птица, поморгавъ красными вѣками, голову на бокъ, не спѣша, удалась.

Въ небольшой комнатѣ, убранный, какъ небогатая усадьба, сидѣла молодая женщина. Она не читала, не работала, не смотрѣла на улицу (гдѣ впрочемъ и смотрѣть-то было не на что), а просто сидѣла и будто прислушивалась. Она сидѣла на тяжеломъ стулѣ, почти вплотную стоявшемъ у комода, куда, вѣроятно, никто никогда не садился. Гладко причесанные во-

лосы, простое платье и косынка, стягивающая грудь, дѣлали ее похожей на картины Федотова. Ничего не было слышно, но сидѣвшая, очевидно, не даромъ прислушивалась: вдругъ вытянувъ шею, и оставшись такъ нѣсколько секундъ, она встала и прошла въ сосѣднюю комнату. Тамъ лежалъ на диванѣ мальчикъ лѣтъ десяти, одѣтый, съ закрытыми глазами. Повидимому, онъ спалъ, такъ что мать пришла на сонный стонъ, или даже вздохъ, услышанный только ею. Теперь мальчикъ лежалъ спокойно, похожій на мать. Въ комнатѣ казалось необыкновенно тихо. Анна Николаевна постояла нѣсколько минутъ, потомъ вышла, но не въ ту комнату, гдѣ только что сидѣла у комода, а въ кухню. Со двора черезъ три окна свѣтило солнце и несмотря на отсутствіе мѣдной (да и вообще всякой) посуды, было какъ-то некстати весело и уютно. Анна Николаевна пожалала плечами, потомъ осторожно топнула ногой въ крышку подполья. Снизу раздалось ворчанье, хозяйка еще разъ топнула сильнѣе, и наконецъ съ трудомъ приподнявъ крышку, закричала внизъ:

— Что за дура! вылезай скорѣе! Это — я. Какіе нѣмцы?! Тебѣ восемьдесятъ лѣтъ, что тебѣ сдѣлаютъ? Лѣзь скорѣе, а то я не удержу крышки и она хлопнетъ тебѣ по головѣ... ну!

Медленно изъ отверстія показывалось одно за другимъ: темный платокъ въ горошкахъ, морщинистый лобъ, носъ, ротъ, кофта, короткая ваточная юбка — и наконецъ вся кухарка Домна. Она была такого маленькаго роста, что было странно, какъ медленно выгружались всѣ ея части изъ подполья.

— Какъ я перепугалась, барыня! думала — нѣмцы!

— Полно болтать вздоръ! И безъ нѣмцевъ тебѣ помирать пора.

— Помереть не страшно, а надругаются! — отвѣтила Домна, и высморкалась.

— Посиди съ Федей, мнѣ нужно сходить къ Янкелевичу.

— Зачѣмъ, барыня? сиди лучше дома.

— Хочу попросить лошадей, поѣхать хоть къ тетѣ Дунѣ.

— Вотъ хорошо бы было! Только сдеретъ теперь Янкелевичъ въ тридорога.

— Тутъ всего тридцать верстѣ. Я предложу ему оставить всю обстановку, маминъ браслетъ у меня еще остался...

Старуха покачала головой.

— Наврядъ есть лошади у него. Лучше я схожу къ Янке-левичу, а ты посиди. Мнѣ оставаться съ Феденькой страшно: вдругъ онъ помретъ, что я тогда буду дѣлать? сама помереть могу!..

— Какія глупости! Федя не такъ боленъ, онъ просто слабъ, а у меня нѣтъ денегъ, чтобы везти его въ Калугу... А ты говоришь, помретъ, — вотъ дура!

— Что же съ меня спрашивать, коли я дура? А отъ слова не сдѣлается. Такъ сходить, что ли?

— Нѣтъ, зачѣмъ Федя умретъ?

— Къ Янкелевичу-то, говорю, сбѣгать что-ли?

И она опустила на табуретку прямо посреднѣ солнечнаго коврика на полу. Анна Николаевна печально посмотрѣла на свою единственную помощницу и, тихонько вздохнувъ, начала:

— Да, сходи, умоли его дать завтра лошадей. Вотъ бра-слетъ, онъ — золотой, старинный; всю мебель, что осталась, все, что у меня есть.

— Все расскажу, на все пойду, барыня! такія времена, о чемъ тутъ думать?

Неизвѣстно, на что думала пойти Домна, но сейчасъ же стала одѣваться, главнымъ образомъ укутывая голову, будто была зима.

Федя продолжалъ лежать съ закрытыми глазами, но повиди-мому, не спалъ, такъ какъ улыбнулся и ласково, не въ бреду, позвалъ:

— Мама!

— Что, милый?

— Мама милая! — договорилъ мальчикъ и снова замолкъ.

Анна Николаевна отвела его вспотѣвшие волосы и поцѣловала въ мокрый, горячій лобъ.

— Нѣмцы еще не пришли?

— Нѣтъ. Да они и не придутъ, не безпокойся.

— А къ тетѣ Дунѣ мы скоро поѣдемъ?

— Завтра.

— Я не помню... все лежалъ, вспоминалъ... столовая у тети, направо, или налѣво?

- Отъ передней?
— Да.
— Налъво.
— И тамъ сѣрый попугай?
— Да.
— Когда я поправлюсь, ты меня сведи въ соборъ. Я позабылъ, какой онъ такой.
— Хорошо. Сходимъ непременно.
Домна вернулась уже подъ вечеръ. По ея словамъ, несмотря ни на какіе уговоры, Янкелевичъ лошадей дать не можетъ, а за браслетъ предлагаетъ три рубля. Мебели не надо — все равно, нѣмцы будутъ стрѣлять и все переломаютъ. Анна Николаевна спокойно выслушала эти сообщенія, будто говорили не про нее и сказала только.
— Ну, что же дѣлать!
— Да, ужъ видно ничего не подѣлаешь.
— Мама, зачѣмъ намъ лошадей? Пойдемъ пѣшкомъ! — раздалось съ порога и, обернувшись, Анна Николаевна увидѣла Оедю. Онъ держался за косякъ, но видъ имѣлъ веселый, румянецъ проступалъ на щекахъ и глаза блестяли. Конечно, у него жаръ. Но нѣтъ, голова холодная. Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ поправился?
— Что ты говоришь, Оедя?
— Пойдемъ пѣшкомъ къ тетѣ Дунѣ. Я дойду. Помнишь, прошлый годъ мы ходили, всего три раза отдыхали! Какъ было хорошо! какъ весело! Насъ дождикъ засталъ... Я здоровъ сегодня, совсѣмъ здоровъ!..
— Конечно, ты здоровъ, мой милый, но ты всетаки устанешь.
— Нѣтъ, мама, право, я не устану.
— Вотъ какой ходокъ выискался! — встала Домна.
— Теперь поздно, темно... — уговаривала Анна Николаевна. Оедя улыбнулся снисходительно.
— Конечно, не сейчасъ идти. Ты меня совсѣмъ за глупаго считаешь. Завтра съ утра пойдемъ.
— Завтра и поговоримъ объ этомъ. Теперь иди спать.
— Да, я пойду — согласился мальчикъ, — завтра нужно рано вставать.

Анна Николаевна, разумѣется, не придавала значенія дѣтскимъ словамъ, хотя и подумала, что, конечно, будь Федя здоровъ, они могли бы пойти пѣшкомъ къ тетѣ Дунѣ. Но что же думать о томъ, чего нѣтъ!

Утромъ мальчикъ поднялся раньше всѣхъ, потихоньку одѣлся, умылся и сталъ будить Анну Николаевну. Не вставая съ постели, она пощупала его голову, — жара нѣтъ, блѣдненькій, слабый, но бодрится и будто крѣпче, чѣмъ вчера. Можетъ быть, и возможно?

— Я могу, я могу, мама!.. — твердилъ Федя и все торопилъ, но старуха стала ихъ кормить, поить чаемъ, такъ что выйти можно было только часовъ въ одиннадцать. Анна Николаевна почти не сознавала, что она дѣлаетъ, притомъ ей такъ хотѣлось, чтобы ея сынъ былъ здоровымъ и бодрымъ, какъ прежде, что она сама повѣрила въ это.

Федя надѣлъ сапоги съ голенищами и туги подпоясался ремнемъ, за пазуху наложилъ пирожковъ, въ руки взялъ палку, и вообще имѣлъ такой видъ, будто онъ ведетъ Анну Николаевну, а не она его.

Было ясно и сухо, вдали деревни и дороги были такъ отчетливо видны, что лѣтомъ нельзя бы было даже предположить, что онъ замѣтны съ этого пригорка. За рѣкой кучками еле замѣтно сѣрѣли конные отряды. Облака, опредѣленно вырѣзанныя, стояли, какъ ни въ чемъ не бывало. Федя шагаль бодро, изрѣдка съ улыбкой взглядывая на Анну Николаевну, будто желая убѣдиться, идетъ ли она, не утомилась ли, не отстала ли. Та кивала ему головою, и такъ шли дальше, молча. Нѣкоторые мосты были сломаны, приходилось переходить ручьи по камнямъ, или босыми ногами вступая въ холодную, быструю воду. Встрѣчныя деревни были безлюдны, лишь кое-гдѣ изъ верхняго окна выглянетъ старушечья голова, да заплачетъ грудной. На поляхъ быстро убирали оставшійся хлѣбъ. У одного изъ ручьевъ, гдѣ была вставлена кадушка и привязанъ берестовый ковшичекъ, сѣли отдохнуть и закусить. Федя лежалъ навзничъ, смотря въ небо сквозь густыя еще, но слегка пожелтѣвшія, вѣтки дуба.

— Пойдемъ, Федя: идти еще далеко.

- Пойдемъ.
- Что же ты не встаешь? или еще не отдохнулъ?
- Я, мама, больше не могу идти.
- Какъ не можешь? ножки болятъ?
- Не могу, совсѣмъ не могу...
- А ты попробуй... тебѣ такъ кажется, что ты не можешь, а попробуешь, и пойдешь.

Но, конечно, Федъ нечего было и пробовать идти. Онъ только закрылъ глаза, улыбнулся, но ничего не сказалъ — заснулъ, что-ли. Анна Николаевна сидѣла такъ тихо, что подскокившій воробей спокойно клевалъ навозъ, приставшій къ Единымъ сапогамъ. Наконецъ, оглядѣвшись по сторонамъ, она наклонилась къ сыну и осторожно подняла его, еще болѣе легкимъ сдѣлавшееся за болѣзнь, тѣло. Тотъ во снѣ, или вѣ истомѣ обвилъ ея шею рукою и щекою прижался къ щекѣ. Анна Николаевна пошатнулась слегка при первомъ шагѣ, но потомъ пошла бодро со своею ношею. Никого не встрѣчалось, такъ какъ они выбрали кратчайшую дорогу, не всѣмъ извѣстную и почти непроѣзжую. Это мало смущало путешественницу, все вниманіе которой будто на то было обращено, чтобы удерживать Федю. Но руки все ослабѣвали и мальчикъ сползалъ внизъ, держась наконецъ однимъ своими ручками за шею, начавшую уже ныть. Было, вѣроятно, часовъ пять, а дороги и половина не была пройдена. Вдали будто заглушенные, но густые прозвучали ружейные выстрѣлы. Анна Николаевна прислонилась къ дереву и все яснѣе чувствовала, какъ руки у нея расходятся, какъ чужія, и Федя скользитъ внизъ. Она осторожно положила сына подъ дерево и стала медленно проводить руками по воздуху, чтобы онъ отдохнули. Замѣтно темнѣло, поднимался вѣтеръ, разгоняя и тѣ облака, которыя были. Мальчикъ дышалъ спокойно, но очень тихо, — еле слышно было подъ толстымъ сукномъ куртки, какъ билось сердце. Мать около него совсѣмъ застыла, смотря, какъ все болѣе краснѣла западная часть неба. Продолженіе дороги вѣ лѣсѣ казалось совершенно чернымъ. Выстрѣлы, не сдѣлавшись чаще, не прекращались. Лошадиное фырканье заставило обернуться Анну Николаевну. Изъ черноты одинъ за другимъ проскакало съ де-

сятокъ всадниковъ, громко стегая коней. Достигнувъ дерева, гдѣ были путники, солдаты придержали лошадей, будто не зная, куда дальше направляться. Первый, показывая неопредѣленно рукою на долину, говорилъ что-то по-нѣмецки. Анна Николаевна безшумно опустилась на Оедю, будто стараясь защитить его отъ неизвѣстной опасности; тотъ не проснулся, только тяжело вздохнулъ всѣмъ тѣломъ. Черное платье женщины, очевидно, скрывало ее отъ глазъ непріятелей, потому, что, постоявъ нѣкоторое время, они опять, одинъ за другимъ, скрылись въ темнотѣ. Сколько времени провела такъ Анна Николаевна, она точно не знала, даже не знала, о чемъ молиться: о томъ ли, чтобы на этой узкой дорогѣ показались какіе-нибудь путники, которые могли бы помочь имъ, о томъ ли, чтобы въ ослабѣлое тѣло ребенка вернулись силы, равныя ея желанію, о томъ ли, чтобы сразу очутиться въ какомъ-либо безопасномъ мѣстѣ, — она ничего не знала, но все соединила въ одно неопредѣленное устремленіе, чтобы какъ-нибудь, какъ угодно, но сдѣлалось лучше. Въ то же время она старалась согрѣть мальчика своимъ дыханіемъ и безпокойно прислушивалась, бьется ли сердце, стучитъ ли. Ей не казалось, что она спитъ, но на нее нашло какое-то скорбное и восторженное забвеніе, такъ что она не знала, во снѣ ли, или на яву, ее спросили:

— Сударыня, можетъ быть, я могу помочь вамъ въ вашемъ горѣ?

Въ темнотѣ выдѣлялось только небо съ Большою медвѣдицею; говорящаго у дерева не было совершенно видно. Анна Николаевна, вѣроятно, громко плакала и прохожій ее услышалъ. Она стихла и молчала.

— Можетъ быть, я могу помочь вамъ? Теперь ночь, мѣсто здѣсь глухое, подѣ откосомъ насъ ждутъ. Я васъ отвезу въ городъ, гдѣ вы найдете и другую помощь.

— Вы — нѣмецъ! вы отвезете въ плѣнъ меня и моего ребенка! будете насъ мучить!

— Господь съ вами! вы слышите, что я говорю по-русски.

— А развѣ нѣмцы не могутъ говорить по-русски?

— Ну, смотрите: похожъ ли я на нѣмца? я — русскій офицеръ!

Незнакомецъ вынулъ карманный фонарь и навелъ блѣдный, дрожащій, теряющійся въ кустахъ кругъ на себя. Онъ былъ, дѣйствительно, въ русской формѣ, но Анна Николаевна смотрѣла только на его лицо. Безусое, смуглое и продолговатое, оно не было русскимъ, но, конечно, и не нѣмецкимъ. Длинные глаза строго бодрили и губы, не улыбаясь, были ласковыми. Дѣвическая мужественность и суровая дѣвственность дѣлали лицо это страннымъ и когда-то видѣннымъ. Отъ движущагося свѣта лицо казалось неподвижнымъ, не живымъ.

— Идемте! — сказалъ онъ, какъ приказаніе, опуская фонарь къ травѣ, словно лучистую лейку. — Я возьму вашего ребенка. Не бойтесь, я умѣю обращаться съ больными. Держите меня за руку. Сейчасъ мы придемъ.

Анна Николаевна взялась за сухую и теплую руку, которая съ нѣжною силою повела ее, будто она плыла, не передвигая ногами. Зацѣплялась за репейникъ, платье рвалось, спотыкалась о колеи и камни, но ничего не чувствовала. Ѳедя сидѣлъ молча, свѣсивъ руки и голову, а ей казалось, что онъ радуется и плещется. Иногда она будто днемъ видѣла и мальчика, и офицера, и себя, и спускъ въ луговину такъ свѣтло, какъ не могъ бы освѣщать фонарь.

Внизу ждалъ автомобиль безъ шоффера. Офицеръ посадилъ Анну Николаевну и Ѳедю въ коляску, а самъ, повозившись немного съ машиной, сѣлъ снаружи. Они поѣхали очень быстро, но не такъ, какъ хотѣло бы летящее желаніе Анны Николаевны. Неслись по незнакомымъ мѣстамъ, ночью и знакомое кажется неизвѣстнымъ. Одичалое стадо барановъ бросилось вбокъ, расплескавъ болото, съ бляньемъ и мордами, какъ у чертей. Вдали розовѣли три зарева, на которыхъ черно-красными, округло и мягко, летѣли снаряды. Веретеномъ жужжалъ цеппелинъ и казалось, что по сторонамъ дороги — погоня въ галопъ. Офицеръ, не оборачиваясь, говорилъ:

— Не бойтесь, будьте спокойны, вашъ сынъ будетъ живъ, и вы спасетесь. Вѣрьте мнѣ.

— Я вамъ вѣрю и ничего не боюсь.

— Такъ и надо. Это — хорошо.

— Это хорошо. Я знаю. Иначе и нельзя.

Николаевна
не боялась
войны!

— Иначе и нельзя.

Анна Николаевна говорила вполголоса, но офицеръ ее слышалъ, и она слышала его отвѣты. Можетъ быть, они не говорили, а только думали.

По мѣрѣ того, какъ они подвигались, все становилось покойнѣе, небо темнѣло, зарева еле свѣтлѣли позади ужъ, и когда они вѣхали въ городокъ, тамъ все спало, будто и не было войны въ ста верстахъ. Только сѣрѣло, настоящей зари не начиналось. Остановились у небольшой гостиницы съ высокимъ каменнымъ крыльцомъ на улицу. Разбудивши слугу, офицеръ внесъ Федю въ номеръ и сказалъ:

— Тутъ вамъ будетъ покойно. Отдохните и поѣзжайте на родину. У васъ, вѣроятно, совсѣмъ нѣтъ денегъ — я вамъ оставлю на первое время. Когда сможете, отдадите.

— Когда смогу, отдамъ, — повторила Анна Николаевна, смотря на незнакомца. То же лицо, неизмѣняемое и неизмѣнчивое, только ростомъ кажется выше, когда въ комнатахъ. Онъ наклонился къ Федѣ, такому маленькому на двуспальной кровати, поцѣловалъ его въ лобъ. Въ рукъ у офицера очутилась сторублевая ассигнація какъ-то безъ того, чтобы онъ доставалъ ее изъ бумажника. Онъ позвонилъ горничной и сказалъ:

— Теперъ до-свиданья! Будьте покойны и счастливы. Все устроится.

И вышелъ за дверь. Только утромъ у Анны Николаевны мелкнула мысль:

— Какже я не спросила у него ни фамиліи, ни названія полка, гдѣ онъ служитъ. Даже не поблагодарила его какъ слѣдуетъ!

— Впрочемъ — успокаивала она сама себя — онъ, вѣроятно, здѣсь всѣмъ извѣстенъ, если стоитъ тутъ. А если онъ стоитъ въ другомъ мѣстѣ, затѣмъ же бы онъ меня привезъ именно сюда?

Но въ городѣ офицера никто не зналъ, а въ гостиницѣ даже увѣряли, что ни офицера, ни автомобиля не видали, а когда отворили двери на звонокъ, прямо нашли уже Анну Николаевну и Федю на крыльцѣ. За сонъ принять это не позволяли три двадцатипятирублевки съ мелочью, оставшіяся отъ размѣненныхъ ста рублей.

— Мама! — позвалъ Ѳедя съ постели.
— Что, милый?
— Какъ мы сюда попали? вотъ видишь, — я и дошелъ и ничего не случилось, а ты все боялась!..
— Да, да...
— Вѣдь я дошелъ своими ножками?
— Своими ножками. А потомъ я тебя несла немного...
— То-то мнѣ снилось, что меня несутъ... только не ты, а офицеръ...

Мальчикъ приподнялся, оглядѣлъ комнату.

— Что это, совсѣмъ непохоже на тетину квартиру! и гдѣ же она сама?

— Мы, дружокъ, не у тети Дуни, мы совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ, и завтра поѣдемъ далеко, въ деревню подъ Калугу. Ты тамъ никогда не бывалъ. Тамъ ты поправишься, будешь пускать змѣевъ, зимой кататься на салазкахъ, и нѣмцы туда не придутъ.

— Вотъ это хорошо! Только я все-таки не понимаю, какъ мы сюда попали!

Анна Николаевна ничего не отвѣтила, такъ какъ и сама куда этого не понимала. Поняла она это гораздо позже, когда уже приѣхала въ Калужскую губернію и захотѣла отслужить молебенъ въ сельской церкви, гдѣ съ дѣтства по лѣтамъ молилась, гдѣ вѣнчалась и гдѣ отпѣвали ея отца. Она хотѣла это сдѣлать сейчасъ по приѣздѣ, не дожидаясь ближайшаго праздника, потому отворили пустую церковь и кромѣ Анны Николаевны, ея матери, Ѳеди, да горничной дѣвушки никого не было. Они сидѣли въ оградѣ на скамеечкѣ, когда пришелъ сторожъ сказать, что все готово. Не успѣла Анна Николаевна, поставивъ свѣчку Спасителю, перейти съ зажженной другой къ Божьей Матери, какъ вдругъ упала, громко вскрикнувъ. Свѣчка откатилась, но не погасла. Всѣ поспѣшили на помощь барынѣ, но она уже очнулась и, прошептавъ: „ничего, можно служить!“ проползла на колѣняхъ къ сѣвернымъ вратамъ и припала губами къ потемнѣвшей ногѣ Ангела. Ѳедя, перебирая кисточки кушака, твердилъ:

— Мама, что съ тобою? мама...

— Ничего. Молись, Федя... — отвѣтила Анна Николаевна, не спуская заплаканныхъ сразу глазъ съ ласковыхъ безъ улыбки губъ, строгихъ и бодрящихъ очей и съ продолговатаго, смуглаго лика. Батюшкѣ она ничего сейчасъ не сказала, а на слѣдующее утро прислала въ конвертикѣ для бѣдныхъ сто рублей со странной припиской:

— Никогда въ долгахъ не бывала. Всегда ихъ платила. Особенно такіе.



А. И. БОЖЕРЯНОВУ.

СЕРЕНАДА ГРЕТРИ.

Почти забыли, что на дворѣ августъ, что въ саду г. Блау ни одного желтаго листа, и каждое облачко напоминало пушечные выстрѣлы на лубочныхъ картинахъ.

Одна Жанна Меаръ стояла у полуоткрытаго окна, нюхая левкои въ ящикѣ. Вѣтеръ растрепалъ ея рыжеватые волосы вродѣ сѣянья, что совсѣмъ не шло къ ея плотной, вполне земной фигурѣ. Мальчикъ и горбунъ, почти одинаковаго роста, смотрѣли отъ печки на воланы бальнаго платья Жанны. Въ комнатѣ было темно, несмотря на второй часъ дня, и стаканы въ буфетѣ тихо звенѣли при залпахъ.

— Какъ сегодня странно пахнутъ левкои! — сказала Жанна, не оборачиваясь.

— Они пахнутъ войной! — отвѣтилъ женскій голосъ. Въ глубинѣ столовой оказались еще старый господинъ, дама и дѣвочка. Дама продолжала:

— Сегодня вѣтеръ перемѣнился и дуетъ съ фортовъ.

— Да, но пахнетъ не порохомъ; къ этому запаху я привыкла. Мнѣ кажется, у меня даже волосы имъ пропахли.

— Это пахнетъ трупами, m-lle Жанна, — сказалъ горбунъ, — нѣмецкими трупами...

Мальчикъ воодушевленно подхватилъ и его слова выходили особенно громко, потому что всѣ говорили вполголоса.

— Говорятъ, трупы доходятъ до колѣнъ, даже до пояса сражающихся. Нѣмцы просили позволенія ихъ убрать, но наши отказали.

— Это была хитрость съ ихъ стороны, больше ничего. Ты думаешь, они бы намъ позволили что-нибудь подобное? Никогда.

Жанна отошла отъ окна и молча сѣла къ столу, гдѣ надъ развернутой картой Африки наклонился старый Блуа. Горбунъ отъ печки ласково произнесъ:

— Отчего, m-lle Жанна, вы сегодня такая нарядная?

— Я и вчера была въ этомъ же платьѣ, вы не замѣтили, г. Ларжи. И потомъ вы знаете, что я собиралась пробыть въ Льежѣ не болѣе дня, дать концертъ и уѣхать. Въ Шарлеруа я думала отправиться только черезъ двѣ недѣли, такъ что я поневоля въ такомъ нарядѣ. Все случилось такъ неожиданно, по крайней мѣрѣ. Для меня, — я вѣдь не занимаюсь политикой.

Да, никто этого не ожидалъ, даже отъ нѣмцевъ.

Горбунъ снова началъ, теперь обращаясь уже къ старому господину:

— А хозяинъ все беспокоится о своихъ грузахъ. Ему будто нѣтъ дѣла до того ужаса, что происходитъ здѣсь!

Тотъ поспѣшно свернулъ карту, лежавшую передъ нимъ, какъ передъ новымъ Колумбомъ, и заговорилъ, будто его разбудили:

— Нѣтъ, нѣтъ. Развѣ я не такой же бельгіецъ, какъ и всѣ вы? Конечно, я старъ, но когда лѣзутъ въ домъ, будешь хоть кочергой обороняться.

— У васъ нѣтъ сыновей на войнѣ? — спросила Меаръ.

— Нѣтъ, у насъ только Шарль и Женевьева — дѣти старости. Мы тридцать лѣтъ какъ женаты, а мальчику только двѣнадцать.

— О, Господи! — вздохнула почему-то г-жа Блуа въ молчаньи.

— Конечно, жизнь актеровъ не та, что сто или даже пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, но имѣетъ общее съ бивуакомъ. Комфортабельный бивуакъ. Сегодня въ Брюсселѣ, завтра въ Парижѣ, вчера въ Берлинѣ или Миланѣ. Не такъ сознаешь родину. Но вотъ теперь, во время такихъ катастрофъ, я чувствую себя бельгийкой и мнѣ трудно представить, что меня будетъ разстрѣливать публика Берлинской оперы. У меня тамъ были и поклонники, теперь враги...

— Какой ужасъ вы говорите! — сказала г-жа Блуа.

Зубы пѣвицы сверкнули, будто освѣтивъ комнату.

— Почему ужасъ? Что у меня были поклонники? Я у всѣхъ на виду и не уродъ. Это не считается безчестьемъ въ нашемъ дѣлѣ...

— Вы — красавица! — проговорилъ горбунъ.

— Конечно, ш-ле Жанна красавица, — подтвердилъ и мальчикъ. Меаръ сдѣлала реверансъ и быстро отвѣтила:

— Благодарю васъ, мои друзья, но позвольте мнѣ вамъ не повѣрять. Во-первыхъ, я васъ не считаю за судей, а во-вторыхъ, если я и красавица, то развѣ только на время осады.

Отдаленный звукъ колокола смѣшался со стѣномъ Жанны, будто желая прекратить его.

— Что это? — прислушиваясь, произнесла пѣвица.

— Опять пожаръ, навѣрное. Городъ горитъ съ двухъ концовъ.

Шарль мялъ левкой, высунувшись изъ окна.

— Ничего не видно!

— Не надо открывать оконъ, мальчикъ.

— Выйдемте въ садъ, Шарль, я совсѣмъ не дышу воздухомъ.

— Вы подвергаетесь опасности, м-ле, выходя на улицу.

— Ну что же? Чѣмъ я хуже тѣхъ, кто сражается?

Мѣсяцъ бѣлѣлъ облачкомъ на дневномъ небѣ, пахло резедой и дальніе боевые раскаты дѣлали будто еще болѣе мирнымъ небольшой садъ въ высокихъ стѣнахъ. Въ одномъ окнѣ парусомъ раздувалась короткая бѣлая занавѣска. На декольтированныхъ плечи Жанна набросила совсѣмъ простой вязанный платокъ старой Блуа. Мальчикъ началъ, будто занимая гостью въ салонъ:

— Вы читали, какъ герцогиня Люксембургская выѣхала въ открытомъ экипажѣ навстрѣчу врагамъ?

— Да. Она храбрая дѣвушка.

— Они приставили пистолетъ ей ко лбу, свалили кучера и отвезли ее въ плѣнъ. Она сказала: „свидѣтельствую передъ Богомъ и челоуѣчествомъ о вашемъ варварствѣ!“

— Можно было бы счесть эти слова за напыщенные въ обычное время, теперь они нужны и святы.

— Г. Метерлинкѣ раненѣ въ сраженіи...

Пѣвица крѣпко сжала руку мальчику, будто желая сказать ему что-то необычайно важное, но вышло только:

— Вы учитесь гдѣ-нибудь, Шарль?

— Я хожу въ контору папы и присматриваюсь, черезъ годѣ онѣ собирался взять меня въ плаванье. Но теперь, теперь сколько бы я далъ, что бы мнѣ было девятнадцать лѣтъ!

— Что же бы вы сдѣлали?

— Дрался бы! — губы мальчика хотѣли вздрогнуть, но онѣ ихѣ прикусилѣ, чтобы онѣ были сжаты по-мужски.

— Прoberитесь во Францію и сдѣлайтесь бой-скоутомѣ!

— Вы думаете, это возможно?

— Теперь все возможно. Возможно, если нѣмцы сюда явятся, я буду поливать ихѣ кипяткомѣ изѣ-за жалюзи, какѣ дѣлали двѣсти лѣтъ тому назадѣ!

— М-ше Жанна.

— Что милый?

— Если бы я былѣ большимѣ, я полюбилѣ бы только васѣ.

— Спасибо, Шарль.

Мѣсяцѣ позолотѣлѣ на посинѣвшемѣ кусочкѣ неба, тлѣные явственно доносились сѣ вѣтромѣ, пальба стихала, было слышно далекое карканье за городомѣ.

— Какѣ много воронѣ!

— Онѣ тамѣ, за укрѣпленіями.

— Боже мой! Вы знаете, Шарль, онѣ прежде всего выкле-виваютѣ глаза...

— Это у скота, у живого мнѣ говорили...

— Вы думаете, только у живыхѣ?

— Да, м-ше Жанна. Мертвые все равно не видятѣ.

Меарѣ, забывшись, опустила платокѣ, и тѣло красавицы откровенно давало себя освѣщать желто-молочному свѣту. Она говорила будто для себя, не думая, что Шарлю двѣнадцать лѣтъ.

— Я часто пѣла Вагнера. Говорятѣ, это — героическое искусство. Это тупо и бездушно и какѣ мелко. Теперь все проще и больше, когда каждый лифтѣ-бой обращается въ бой-скоута.

Мальчикъ сползъ къ ногамъ пѣвицы и осторожно цѣловалъ воланы такого некстати наряднаго платья. Казалось, онъ плакалъ, прикусивъ губы. Наконецъ, она замѣтила его и сказала:

— Идемте домой, Шарль. Вотъ мы погуляли и ничего съ нами не случилось.

— Хорошо, m-lle, что вы — бельгійка. Вы красавица и героиня.

— Это потому, что я вышла въ садъ поглядѣть на мѣсяцъ? Это не трудно, Шарль.

— Нѣтъ, потому что при васъ чувствуешь себя увѣреннымъ и сильнымъ, большимъ и бодрымъ.

Мелькомъ улыбнувшись, Жанна замѣтила:

— Можетъ быть, это просто потому, что я слишкомъ люблю жизнь и нѣсколько легкомысленна, не знаю...

Комната г-жи Меаръ выходила въ садъ, но была во второмъ этажѣ, такъ что не было видно Мезы, протекавшей невдалекѣ, а лишь противоположная стѣна, едва скрываемая зеленью рѣдко посаженныхъ липъ. Въ комнатѣ было свѣтлѣе, нежели въ столовой, хотя старинность дома и обстановки налагала извѣстную мрачность и на нее. Только разноцвѣтные тюльпаны въ фаянсовыхъ, бѣлыхъ съ желтыми и зелеными разводами, горшкахъ, да бѣлая короткая занавѣска на мелкихъ клѣткахъ рамы веселили низенькую горницу. Разстроенный маленький рояль звучалъ вродѣ клавесина, когда Жанна вполголоса пѣла:

„Tandis que tout sommeille
A l'ombre de la nuit,
L'Amour qui me conduis,
L'Amour qui toujours veille,
Me dis tout bas:
„Viens, suis mes pas,
Où la beauté t'appelle“.

Шарль пошевелился у окна и сказалъ задумчиво:

— Это нашъ Гретри!

— Да, это онъ. Я прежде плохо знала его. Вы знаете, что поютъ пѣвцы? Я у васъ отыскала эти ноты и чувствую, что, смотря на наши поля и холмы, подставляя мальчикомъ лобъ

подъ нашъ бельгійскій вѣтеръ, — Гретри въ Парижѣ могъ вспомнить эти милыя, человѣчныя пѣсни.

— М-ле Жанна, пойдите въ фортъ.

— Что я тамъ буду дѣлать?

— Вы споете имъ эту серенаду, и солдаты вспомнятъ дѣтство, не свое, а какое-то дѣтство, прелесть дѣтства и родины, и будутъ сражаться еще храбрѣе.

— Тамъ трубы играютъ маршъ, моей пѣсни никто не услышитъ!

— Вы споете генералу на ухо, положивъ руки ему на плечи, и онъ пойметъ.

— У васъ смѣшныя мысли, Шарль.

— Мнѣ можно имѣть смѣшныя мысли, мнѣ только двѣнадцать лѣтъ.

— Это не отъ лѣтъ.

Въ двери просунулась голова горбатаго Кирилла.

— Я стучалъ, право, я стучалъ, но вы не слышали.

— Входите, г. Ларжи, у насъ нѣтъ секретовъ.

— Вы развлекались?

— Да, чѣмъ могли.

— Пѣли пѣсенки и бесѣдовали съ Шарлемъ?

— Вотъ именно. Надѣюсь, въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго.

— Конечно, конечно. И потомъ я не цензоръ вашихъ поступковъ, м-ле.

Шарль отъ окна смотрѣлъ на большое съ длиннымъ блѣднымъ носомъ, словно не живое, лицо Ларжи и вдругъ сказалъ:

— М-ле Жанна, пойдите посмотрѣть на форты.

— Къ фортамъ? Вы все еще не оставили вашего плана?

— У мальчика есть уже планы? Вотъ какъ! — замѣтилъ горбунъ.

— Нѣтъ, на чердакъ; оттуда прекрасно видно, — продолжалъ Шарль.

— Ахъ, на чердакъ! Это другое дѣло.

Г. Ларжи тоже одобрилъ предложеніе Шарля, и всѣ трое стали взбираться по деревянной лѣстницѣ. Небо отъ непрерывной пальбы сдѣлалось хмурымъ, какъ въ октябрѣ, зелень луговъ

казалась еще ярче, и пушечный дымъ мокро и тяжело стлался. Вдали видны были фабрики и замки, отсюда не казавшиеся разоренными. Горбунъ и мальчикъ стояли съ ногами на скамейкѣ, Меаръ между ними на кольняхъ казалась чуть-чуть ниже ихъ.

— Неужели всю нашу Бельгію разорятъ? Прекрасную страну! этого не можетъ быть!

— Дѣло идетъ о большемъ, нежели Бельгія, ш-ле, и тамъ едва ли что могутъ сдѣлать нѣмцы, даже если бы на ихъ сторонѣ была сила!

— Я не думала объ этомъ. Вы правы, но я готова плакать!

Горбунъ посмотрѣлъ на полуоткрытую грудь г-жи Меаръ и сказалъ:

— Шарль, ты бы принесъ подозрную трубу изъ кабинета: m-ле Жаннѣ будетъ виднѣе.

Жанна ничего не отвѣтила, смотря вдаль сѣрыми, какъ легкій дымъ, глазами. Мальчикъ помялся немного, потомъ быстро застучалъ внизъ по ступенькамъ. Горбунъ, наклонившись, тихо сказалъ, не спуская глазъ съ бѣлой кожи, — бѣлой, какъ у рыжихъ, — г-жи Меаръ.

— Я нарочно услабъ Шарля. Я больше не въ силахъ, г-жа Меаръ. Я сойду съ ума отъ любви. Я не прошу любви, но побудьте со мною, хоть одинъ часъ. Подумайте: все равно, насъ завтра или послѣзавтра разстрѣляютъ нѣмцы и здѣсь нѣтъ никого, кого бы вы любили. Я буду блаженъ, умру, благословляя васъ, и адъ меня не будетъ страшить, если только онъ существуетъ. Одинъ часъ, не больше. Умоляю васъ... Я съ ума сойду...

Такъ какъ Жанна продолжала молчать, то горбунъ тронулъ слегка рукою круглое плечо. Оно было тепло и упруго.

Вдругъ вдали черной тучей взвился огромный дымъ и сильный ударъ потрясъ весь домъ и чердакъ. Видно было, какъ взметнулись вороны по тучѣ, словно осколки гранаты.

— Фортъ взорванъ! — прошептала пѣвица.

— Фортъ взорванъ! — снизу кричалъ Шарль, — наши сами его взорвали, не нѣмцы, нѣтъ!

— Боже мой! — сказала еле-слышно Меаръ, и пошла внизъ. Остановясь у дверей въ столовую, она, не оборачиваясь, сказала Кириллу:

— Вы, конечно, шутили, г. Ларжи? Такихъ вещей не говорятъ серьезно...

— Какъ вамъ угодно... — отвѣтилъ горбунъ.

На диванъ лежалъ нѣмецкій офицеръ, которому фельдшеръ мѣнялъ повязку. Гастонъ и Маргарита недружелюбно и боязливо смотрѣли.

— Что это, раненый? — спросила Жанна.

— Какъ видите.

Она быстро подошла и наклонилась, будто слѣдя за перевязкой. Свѣтлые глаза открылись и губы раздвинулись подъ стриженными рыжими усами.

— Г. фонъ-Штакель, вы меня не знаете. Запомните это, — проговорила Жанна.

Едва ли фонъ Штакель понялъ, что ему говорили, потому что тотчасъ впалъ въ безпамятство, а записная книжка его была потеряна. Въ ней былъ отмѣченъ маршрутъ нѣмецкихъ войскъ до Парижа, адресъ Парижскаго ресторана, куда приглашалъ ихъ на обѣдъ императоръ Вильгельмъ, счетъ мелочныхъ расходовъ, пять строчекъ начатаго стихотворенія, письмо отъ матери и карточка Жанны Меаръ въ роли Венеры изъ „Тангейзера“.

Недѣля казалась годомъ. Миръ, предложенный Вильгельмомъ на любыхъ условіяхъ, былъ отвергнутъ, часть фортовъ перешла въ руки враговъ, нѣмецкія газеты трубили о побѣдѣ, въ Берлинѣ устраивались празднества, и королевскую семью Бельгій германскій императоръ объявилъ несуществующей. Половина этихъ фантазій не доходила до дома г-на Блуа, гдѣ всѣ по-прежнему ждали участи родины и самихъ себя.

Капитанъ фонъ Штакель, придя въ чувство, попросилъ ѣсть и удивился неблагодарности бельгійцевъ, которые сами вызвали нѣмецкія войска для защиты отъ французовъ и сами же съ ними дерутся. Такъ было имъ сказано дома и такъ они вѣрили; можетъ быть, не всѣ, но онъ, по крайней мѣрѣ, былъ въ этомъ увѣренъ, иначе ему было бы трудно раззорять мирную страну.

— Вы не похожи на нѣмца.

— Я? Нѣтъ, я — настоящій и типичный, по моему, нѣмецъ.

— Во всякомъ случаѣ не типичный капитанъ Вильгельмовой арміи. Вообще, не нѣмецъ. Теперь ужь мы не строимъ иллюзій на вашъ счетъ; вы вездѣ показали, что вы такое и какими себя утверждаете.

Они говорили въ той же комнатѣ съ тюльпанами. Г-жа Меаръ уже сняла концертный костюмъ и заняла платье у служанки, перевязавъ грудь косынкой крестъ на крестъ. Волосъ тоже не прибирала, а носила большой чепецъ.

— Вы похожи на Шарлоту Кордэ!

— Можетъ быть.

— А помните, какъ мы ѣздили въ Санъ-Суси?

— Помню, но не время объ этомъ вспоминать.

— Какъ вы стали строги, г-жа Меаръ.

— Я не строга, я только не безтактна.

— Простите, — нѣмецъ наклонилъ голову, покраснѣвъ. Потомъ разсердился и захотѣлъ вбросить монокль въ глазъ, но это ему не удавалось.

— Не надо, — остановила его Жанна, — не дѣлайтесь похожими...

— На кого?

— На тѣхъ, которые разстрѣливаютъ дѣтей.

— Я этого никогда не дѣлалъ.

— Теперь вы отвѣтственны и за другихъ.

Голова горбуна просунулась въ дверь, впустивъ за собою полосу свѣта изъ сосѣдней комнаты. Сидѣвшіе обернулись скорѣе на неожиданный свѣтъ, чѣмъ на голосъ Кирилла.

— Я стучалъ, я, право, стучалъ; но вы не слышали.

Оба промолчали и Ларжи продолжалъ, стоя на порогѣ:

— М-лле Жанна развлекается, какъ можетъ, не правда ли?

— Правда.

— Теперь она уже развлекается разговорами съ военноплѣнными и не считаетъ нужнымъ пѣть серенаду Гретри?

— Я только что собиралась это дѣлать!..

— Вы можете пѣть въ такое время?—спросилъ нѣмецъ.

— Отчего же? Если бы сюда пожаловали ваши пріятели, я бы поливала ихъ кипяткомъ. На фортахъ я бы только мѣшала мужчинамъ, а пока... пока я развлекаюсь, какъ могу, и развлека-

каю другихъ. Развѣ я оскорбляю кого-нибудь этимъ? Можетъ быть, во мнѣ слишкомъ даетъ себя знать кровь моихъ прабабушекъ, смотрѣвшихъ на войну, какъ на жестокое, но простое и необходимое дѣло, такъ что по вечерамъ во время перемирій онѣ устраивали балы, — я не знаю. Я не выдаю себя за героиню, но люблю Бельгію не меньше кого бы то ни было.

Рояль удачно передавалъ трепетанье мандолины и любовно-печально, просто и успокоительно Жанна запѣла. Горбунъ молча зажегъ свѣчи, отъ которыхъ поющая сдѣлалась еще бѣлѣе и какъ-то рыжѣе. Офицеръ сидѣлъ, опустивъ голову, вдругъ прислушался, поднялся...

— Пойдите, m-lle, прошу васъ.

— Charmante Léopore! — допѣла Жанна и встала, не кончая отыгрыша.

— Что случилось? пальба? но она все время... хотя теперь она какъ будто ближе.

— Трубы, трубы...

— Да, музыка...

— Но вѣдь это... это... нѣмецкій маршъ.

— Вы лжете, этого не можетъ быть!

Крики, топотъ лошадей, выстрѣлы приближались. Жанна осталась стоять, опершись на рояль, спиной къ зажженнымъ свѣчамъ.

Шарль влетѣлъ вѣтромъ и безъ словъ бросился къ ногамъ г-жи Меаръ.

— Проклятые, проклятые! — прошепталъ горбунъ.

Жанна, не наклоняясь къ Шарлю, говорила:

— Пусть погибнетъ Бельгія, но и вы, и вы не устоите, потому что Богъ, сердце, искусство за насъ!

Залпъ, какъ зарница, сверкнулъ совсѣмъ близко, разбивъ стекло. Клавиши вдругъ издали аккордъ, не похожій на звуки Гретри, и г-жа Меаръ сильнѣе отклонилась назадъ на рояль. Чепчикъ слетѣлъ и волосы искусственно и театрально рассыпались на клавиатуру. Было странно, что они не заставили звенѣть струны. Такъ умираютъ въ кинематографахъ, только не льется липкая кровь изо-рта. Шарль крѣпко сжалъ колѣни продолжавшей стоять г-жи Меаръ. Старая Блуа торопливо

вошла и будто лучше всѣхъ поняла, въ чемъ дѣло. Оттащила Шарля, и та, которую онъ обнималъ, вдругъ упала, будто только его руками и держалась. Г-жа Блуа закричала и разстегнула для чего-то лифъ пѣвицы. На музыку и выстрѣлы внизу, никто, казалось, не обращалъ вниманія. Ларжи, наклонившись, смотрѣлъ, не отрываясь, на грудь, которую онъ такъ хотѣлъ бы чувствовать теплой и трепещущей.

— Стыдно, стыдно, стыдно! — вдругъ раздался голосъ капитана.

Старый Гастонъ посмотрѣлъ на него и отвѣтилъ:

— Что застрѣлили Жанну Меаръ, вещь довольно обыкновенная въ военное время, но вообще - то вы правы: теперь стыдно быть нѣмцемъ.

— Батюшка, — вдругъ сказалъ мальчикъ, отходя отъ мертвой, — гдѣ французскія войска? понимаете, не бельгійскія, а французскія?

— Не знаю. А зачѣмъ тебѣ?

— Такъ. Мнѣ надо!



В. Мухоморовъ. 1914.

ПАСТЫРЬ ВОИНСКІЙ.

Отецъ Василіи былъ такъ кротокъ, такъ простъ, что невольно привлекалъ къ себѣ сердца всѣхъ, кто его зналъ. А въ полку, какъ же не знать другъ друга? Если чиновникамъ, коммерсантамъ, артистамъ можно еще утаиться отъ сосѣдей, то ужъ въ военной семьѣ этого никакъ не сдѣлаешь. И казалось, что къ скромному армейскому полку подходилъ, какъ на заказъ, скромный пастырь. Не только скромный, но даже какъ бы конфузливый. Маленькій, розовый, совсѣмъ на видъ молодой, о. Василіи вдовѣлъ третій годъ, но въ монастырь не пошелъ, не желая покинуть полковой паствы.

— Вы мнѣ — все равно, какъ дѣти, скажетъ батюшка, обдернетъ ряску и застыдится.

Огорчала о. Василія, что борода у него плохо росла, такъ рыженькій пушокъ курчавился.

Наставленія его не всегда были похожи на то, что понимается подъ этимъ названіемъ, но всегда шли прямо въ душу, будучи продиктованы любовью.

Безрешенникъ былъ необыкновенный, и ничего ему не надо, хотя и называлъ себя „стяжателемъ“. Дѣло въ томъ, что о. Василіи очень любилъ пить чай съ вареньемъ, и полковыя дамы, зная этотъ его вкусъ, всегда надаривали ему банокъ съ десятокъ. О. Василіи краснѣлъ, но принималъ. А потомъ зайдетъ разговоръ о скупости или дурныхъ поступкахъ изъ-за денегъ, — батюшка взволнуется и говоритъ:

— Зачѣмъ же онъ мнѣ не сказалъ? Я бы ему денегъ далъ, только бы онъ изъ-за нихъ душой не кривилъ. Ахъ, дѣти, дѣти, какъ это — нехорошо, немиловидно! Я понимаю, какъ это плохо.

Одинъ единственный разъ видѣли нашего батюшку въ гнѣвѣ. Было это такъ.

Человѣкъ шесть молодыхъ офицеровъ поѣхали въ сосѣднее имѣніе въ гости. Приглашенъ былъ туда и о. Василій. Сначала все шло очень хорошо: пообѣдали, въ винтъ поиграли, поужинали; потомъ начали уже банкъ и девятый валъ, и макао затѣвать. А хозяева были не такъ, чтобы очень хорошо знакомы. Господа офицеры все проигрываютъ, да отыгрываются, да опять проигрываютъ, кителя поснимали, будто всю ночь собираются здѣсь пробыть. О. Василій побродилъ, побродилъ по горницамъ и спрашиваетъ, что не пора-ли расходиться, — боялся, какъ бы мальчики не зарвались. Тѣ и слушать не хотятъ, предлагаютъ ему одному ѣхать. Ѣхать одному, прекрасно, но какъ ихъ оставить?

— Прекращать-то скоро думаете?

— Скоро. Да вы бы, батюшка, тутъ соснули на диванчикъ. Какъ будемъ собираться, васъ разбудимъ.

О. Василій видитъ, что подпоручикъ какое-то не дѣло говоритъ, вышелъ въ кабинетъ, гдѣ происходила игра и опять проситъ разойтись.

— Что это вы, господа, пастыря не слушаться?

Они послушались не изъ страха, а по любви. Было такъ невозможно увидѣть огорченными веселые, восторженные глаза о. Василія, что одна эта мысль удерживала отъ какого-нибудь проступка. Боже мой, огорчить, оскорбить такого человѣка! Развѣ это можно? Епитимьи онъ не наложитъ, не забранитъ даже, а загрузитъ, и это тяжелѣе всего; скрыть отъ него что-нибудь тоже какъ-то трудно: такъ онъ открыто и ласково смотритъ, что нельзя поглядѣть прямо въ глаза ему, если не все въ порядкѣ.

Во время войны одинъ случай выставилъ о. Василія именно какъ отличнаго оратора, но рѣчь объ этомъ впереди, да потомъ, и случай этотъ, можетъ быть, больше доказываетъ неотразимость любви и простоты, нежели убедительность слова. Когда стали ходить слухи о близкой войнѣ, нѣкоторые, конечно, не приуныли, но сдѣлались серьезнѣе и задумались объ оставляемыхъ семьяхъ и близкихъ. О. Василій не измѣнялъ своей веселости и простоты.

— Не надо, братцы, много думать. Мы не стяжатели, а будемъ биться, такъ — за правду; Богъ насъ не выдастъ, да и сами плоховать не будемъ. А кто бодръ, спокоенъ, да о себѣ нисколько не думаетъ, на того сторонѣ и выигрышъ.

— Много, батюшка, перебыютъ очень.

Вздыхнулъ о. Василій.

— Это правда. Война — ужъ такое дѣло. Зато имъ много грѣховъ простится.

И самъ онъ первый слѣдовалъ своимъ совѣтамъ: былъ бодръ, спокоенъ, о себѣ не думалъ (впрочемъ, онъ и никогда о себѣ не думалъ), пожелалъ не оставаться при обозѣ, а всегда былъ впереди всѣхъ.

— Я вездѣ поспѣю, — говорилъ онъ, — я проворный.

И, дѣйствительно, вездѣ поспѣвалъ: и въ первыхъ рядахъ, и въ лазаретѣ, и на самомъ полѣ битвы отходныя читаетъ, и раненыхъ бодритъ, а съ гг. офицерами чай пьетъ въ спокойныя минуты и меньше всего о войнѣ говоритъ. Ну, конечно, дѣло близкое — зайдетъ разговоръ о развѣдкахъ, о выступленіи, объ атакахъ, — батюшка не молчитъ, но рассуждаетъ какъ-то удивительно просто и практически, не вдаваясь въ философію. Такъ какъ большую часть времени доводилось ходить о. Василю безъ шляпы, то онъ и остальную часть дня не надѣвалъ ея. Шутили ему:

— Вы, батюшка, новую моду соблюдаете.

— Развѣ?

— Какъ же! — Англійскую моду — ходить съ непокрытой головой.

— Ну, что же! Англичане — народъ разсудительный, зря не будутъ выдумывать.

Въ Галиціи о. Василій на все удивлялся и глазки его не переставали веселиться теперь какимъ-то болѣе сосредоточеннымъ восторгомъ. Но удивлялся онъ не тому, что было не похоже на наше, а скорѣй сходству галиційскихъ мѣстностей съ русскимъ Западнымъ краемъ. Умиляло его, что и коровы, „какъ у насъ“, и поля, и деревянные церкви, и иконы вдоль стѣнъ по полкамъ избы, и кресты надъ входами, и знакомыя птицы, и съ дѣтства извѣстныя растенія.

Въ одной изъ стычекъ какъ-то случилось, что о. Василій пропалъ. Какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находился, нашимъ не посчастливилось и почти всѣ были истреблены. Куда пропалъ батюшка, было неизвѣстно. Не иначе, какъ попался въ плѣнъ, — такъ всѣ рѣшили, погоревали и даже очень, но что же дѣлать? Но на утро, чуть подняла всѣхъ труба, видятъ по дорогѣ отрядъ конныхъ, а впереди идетъ человекъ и машетъ чѣмъ-то бѣлымъ. Думали, что это перебѣжчики отъ австрійцевъ пришли сдаваться въ плѣнъ. Австрійцы-то, это были австрійцы, но предводительствующій ими оказался никто иной, какъ о. Василій.

— Батюшка! — всѣ возопили, — вы-ли это?

— Не бойтесь, это — я. Вотъ привелъ вамъ еще солдатъ. Я — пастырь и радъ, что нашелъ овецъ заблудшихъ.

Такъ, съ десятокъ австрійцевъ и привелъ, тѣхъ самыхъ, что забрали его въ плѣнъ.

Неизвѣстно, что говорилъ имъ о. Василій, но, очевидно, онъ нашелъ тѣ простыя и душевныя слова, которые могутъ растопить сердца и прекратить братоубійство. Къ счастью, плѣнившіе его непріатели были поляки и русины, понявшіе его наполовину русскія, наполовину славянскія увѣщеванія. Всѣмъ это показалось чудомъ, а батюшка только махалъ рукой, говоря:

— Невѣрные! — ну и чудо... чудеса на каждомъ шагу. Какое-же чудо, что люди могли почувствовать любовь и ласку?

— Вотъ пруссаки васъ не послушали бы!

Батюшка потупился. Его очень огорчала всякая встрѣчная жестокость и черствость, не говоря о настоящихъ звѣрствахъ.

Австрійцевъ отвели, гдѣ находились военнопленные, а батюшку позвали въ лазаретъ причастить умирающаго.

— Тѣ-то — вспомнилъ онъ объ австрійцахъ — тоже удивлялись, что я безъ шляпы.

Больной, нуждавшійся въ послѣднемъ напутствіи, былъ вольноопредѣляющимся чужого полка, совсѣмъ еще мальчикъ, едва-ли окончившій среднюю школу. О. Василій ничѣмъ не показалъ, что раненый ему извѣстенъ. Торжественно и просто, не замедляясь, прочиталъ положенныя молитвы, потомъ вдругъ воскликнулъ:

— Сеня, да какъ же ты сюда попалъ?

— Вотъ попалъ, какъ и всѣ, кто могутъ.

— Такъ чего же ты мнѣ не сказалъ ничего? Мать-то жива, здорова?

— Благодарю васъ, дядя, вѣроятно, здорова. Я совсѣмъ писемъ не получаю...

— Ну, молчи, молчи. Нельзя тебѣ волноваться, не изъ-за чего. Все равно, побѣдимъ мы, а что ты самъ, можетъ быть, не вернешься, объ этомъ не думай. Время-ли?

Раненый помолчалъ, двинулъ было рукою, но сейчасъ же застоналъ и дѣтское лицо его изобразило муку.

— Горе ты мое! Или дома оставилъ кого-нибудь, кто по тебѣ убиваться будетъ? Такъ это, не безпокойся... дѣло молодое, позабудетъ...

— Нѣтъ, она не позабудетъ.

— Зачѣмъ такъ говорить? Зачѣмъ челоуѣку тяжесть навязывать? Теперь тебѣ легко будетъ, пусть и другимъ легко будетъ. Подумай, какой рай настанетъ! А немножко и черезъ тебя. Твое дѣло маленькое, мое — маленькое. Маленькое, да маленькое, а глядишь — большое вышло!

— Все-таки, дядя, если вы вернетесь, если я... то вы передайте Нинѣ Петровнѣ Вродской, вотъ это...

Больной зашарилъ глазами неловко по койкѣ.

— Не волнуйся, самъ найду, я самъ догадаюсь. Богъ тебя благословитъ.

И, дѣйствительно, нужно было имѣть нѣкоторую догадливость, чтобы понять, что именно дѣтская истрепанная тетрадка съ бѣлой наклейкой, въ родѣ тѣхъ, въ которыя школьники записываютъ вокабулы, предназначается далекой и неизвѣстной Нинѣ Петровнѣ.

Смерть племянника не произвела, казалось, особеннаго впечатлѣнія на о. Василія. Впрочемъ, когда одно чувство выбивается тутъ же другимъ, — всѣ нѣсколько притупляются, кромѣ простой безстрашности и отсутствія другихъ мыслей. Но нельзя сказать, чтобы о. Василій былъ лишенъ способности отзываться на все окружающее. Каждое утро онъ привѣтствовалъ, какъ птица небесная. Было-ли солнце, далеко освѣщавшее осеннѣе поля, холмы и луга, или хмурыя облака грозили затяжнымъ

мелкимъ дождемъ, — батюшка всѣмъ былъ доволенъ и за все благодарилъ Создателя, подбодряя свое, все рѣдѣющее, семейство. Онъ не былъ спеціальнымъ любителемъ природы, забывая изъ-за нея людей, на служеніе которымъ считалъ себя призваннымъ. Полно, считалъ-ли? Пожалуй, и не считалъ, даже удивился бы, если бы ему сказали, что онъ несетъ какое-то служеніе, а дѣлалъ весело то, что диктовало ему его любящее, радостное сердце, смущавшееся отъ большихъ словъ и всякаго намека на театральность. И природой онъ наслаждался мимоходомъ, спѣша съ позицій въ лазаретъ и обратно, только по вечерамъ позволяя себѣ краткія прогулки, о которыхъ офицеры узнали совершенно случайно.

Обходили караулы, ночь была августовская, темная, съ частыми звѣздами. Пахло землей и лошадыми, очевидно, только что тутъ стояла конница. Собирались уже возвращаться, какъ вдругъ увидѣли небольшую фигуру, недвижно стоящую шагахъ въ пятидесяти. Хотѣли было окликнуть, да взяли на прицѣлъ, какъ одинъ солдатъ шепчетъ:

— Это они, ваше высокоблагородіе.

— Кто они?

— О. Василій.

— О. Василій?

— Такъ точно.

— Что же онъ дѣлаетъ?

— А кто его знаетъ! — не иначе, какъ гуляютъ, навѣрное...

— Странно, — что за ночныя прогулки! — и потомъ, чего же онъ тогда стоитъ, какъ столбъ!

Дѣйствительно, о. Василій стоялъ, вытянувшись во весь свой маленькій ростъ, поднявъ высоко свои простенькія руки и закинувъ непокрытую голову къ звѣздамъ. Вдругъ склонился, будто упалъ на землю. Долго не поднимался. Опять столбомъ къ небу.

Молился?

Пробовали окликнуть — не слышитъ. Офицеръ и солдаты постояли.

Тихо. Лошадыми не пахнетъ, а съ холмовъ наносятъ не то палыми листьями, не то полынью; звѣзды высоко моргаютъ. Батюшка все столбушкомъ стоитъ, воздвигнувъ руки.

Такъ и ушли, не дозвавшись.

Офицеръ былъ человѣкъ молодой и слегка любопытный, потому онъ на слѣдующее утро попросту и доложилъ о. Василию:

— А мы вчера васъ, батюшка, видѣли, какъ вы молились.

Тотъ, ничего не понявъ, отвѣчаетъ:

— Что-жъ, что видѣли? Дѣло не плохое.

— Нѣтъ, мы васъ тамъ, на горюшкѣ видѣли...

Такъ препростой нашъ милый батюшка стѣснялся даже тѣхъ тайныхъ цѣлоночныхъ молитвъ, которыя, можетъ быть, и давали способность его глазамъ улыбаться навстрѣчу залпамъ и проливать вокругъ ту простую сердечность, которая и въ семью его вселяла безстрашіе и необычайный покой.

Ничего, что батюшка, вернувшись, будетъ конфузиться — придетъ нужный часъ, найдетъ о. Василию горюшку и станетъ на молитву, видя себя истиннымъ молитвенникомъ.



КИРИКОВА ЛОДКА.

Всякій знаетъ, какъ портовые жители сначала замѣчаютъ словно кремневый огонь съ далеко стоящихъ судовъ и потомъ ужъ черезъ полъ-минуты до ихъ слуха дойдетъ тупой выстрѣлъ. Такъ и подлиннымъ вѣстямъ о великой войнѣ предшествовали предзнаменования, видѣнія, слухи и пророчества въ томъ далекомъ на сѣверѣ селѣ, среди печальныхъ болотъ, гдѣ непрерывный шумъ моря наводитъ такую тоску, что начинаешь думать, что слово „поморье“ происходитъ не отъ „моря“, а отъ глагола „помирать“. Отвѣхать верстъ на сорокъ отъ берега, гдѣ твердая совсѣмъ ужъ земля и кое-какой лѣсъ, не слышно, не видно моря, — все-таки легче, а здѣсь бѣлесоватый заливъ, будто упавшій откуда-то глазъ съ бѣльмомъ, бѣлое небо въ туманѣ, гдѣ только мартыны доказываютъ, что это еще не послѣдняя бѣлизна, сонное солнце, сонный плескъ серебряной рыбы, — будто на пришельца смотрятъ на человѣка, и вся безкрайность словно лѣниво ждетъ, когда же будутъ бѣлыя ночи, или покроется все снѣгомъ.

Какъ бы сохраняя тотъ инстинктъ даже не животныхъ, а насѣкомыхъ, заставляющій ихъ окрашиваться въ цвѣтъ окружающей ихъ части природы, — и люди, шедшіе по узкой тропинкѣ, были одѣты въ бѣлый некрашенный холстъ, ихъ волосы были бѣлы почти до сѣдины и голубые глаза словно вылиняли отъ тумана. Паръ поднимался за каждымъ ихъ шагомъ отъ вдавливаемого мха, будто они шли по пожарищу. Шло трое, остановились около самого берега, гдѣ ждала незамѣтная лодка; затѣмъ остались двѣ фигуры, а молочную воду разрѣзалъ гу-

стой желтоватый слѣдъ. Женщины пошли обратно по едва замѣтнымъ слѣдамъ, будто прямо болотомъ; одна изъ нихъ обернулась еще разъ на море, гдѣ въ полосѣ осеребренной солнцемъ, качалась лодка. Затѣмъ запахнувъ бѣлый кафтанъ, догнала старшую, путаясь въ стебляхъ моршки.

— Насмотрѣлась?

— Нѣтъ, не насмотрѣлась.

— Дура ты, Ульяна, какъ посмотрю на тебя!

— Какая есть.

— Да ты съ кѣмъ говоришь-то: съ матерью, или нѣтъ?

— Хоть бы и съ матерью.

— Такъ развѣ съ матерью такъ говорятъ?

— А то какъ-же еще? говорю по-русски.

— Вотъ погоди, сестрѣ Киликеѣ скажу, она тебѣ покажетъ такъ отвѣчать. Лѣстовкой-то отхлещетъ!

— Сестра Киликея, хоть и осерчаетъ, а хлестать меня не будетъ.

— Нѣтъ, будетъ.

— Съ какой стати? Я у нея не подѣ началомъ еще. Да если бы и была, что же я сдѣлала? Кирика провожала, такъ что тутъ худого? всѣ знаютъ, что въ Покровѣ онъ меня возьметъ за себя.

— Вѣшайся ему больше на шею, такъ и спятится.

— Кирикъ не спятится, не такой онъ человѣкъ.

— Какой же онъ такой особенный? какъ и всѣ: кожаной, да кожаный.

— Пускай кожаный, все равно не спятится.

— Да ты не потеряла-ли ужъ себя, Ульяна?

— Нѣтъ.

— То-то.

— А если бы и потеряла, кому какое дѣло?

— Да что ты: бѣлены обѣлася? совсѣмъ отъ рукъ отбилась, будто у нея ни отца, ни матери нѣтъ!

Ульяна, дѣйствительно, имѣла и мать, которая шла вмѣстѣ съ нею къ раскиданному селу, и отца, извѣстнаго въ окрестности, какъ мѣстнаго богатя и содержателя тайнаго скита. Тайнымъ скитъ былъ когда-то, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, теперь же

ни для кого не было секретомъ, что въ шести, семи избахъ одного изъ гнѣздъ, составлявшихъ село, жило съ дюжину старухъ и дѣвушекъ, занятыхъ рукодѣльемъ, молениемъ и хозяйствомъ. Дѣйствительнымъ было и то, что Ульяна слишкомъ любила Кирика и не считала нужнымъ скрывать этого, но, конечно, она не ошибалась, полагая Кирика не „такимъ человѣкомъ“ Хотя съ виду обвѣтренное, загорѣлое сѣвернымъ морскимъ загаромъ, будто слегка дубленое лицо парня съ прямыми русыми волосами и пристальнымъ взглядомъ было какъ у всѣхъ, но иногда въ этихъ глазахъ вдругъ неподвижно зажигались словно голубыя свѣчи, отчего лицо дѣлалось бѣлѣе и прозрачнѣе и самъ Кирикъ не казался тогда уже такимъ „костянымъ да кожанымъ“. Вѣроятно, за эти-то краткія минуты и считала Ульяна своего жениха особеннымъ, если не по дѣвичьей глупости, которой всегда „по милу хорошъ“.

И теперь у большой избы сосѣда Кириковы глаза такъ же странно и неподвижно голубѣли, словно онъ не слышалъ, что говорили кругомъ, или слишкомъ внимательно слушалъ другое, чего не говорили. Писарь, сидя на бревнахъ, читалъ газеты и его окружали старовѣры и церковные, старики и ребятишки; даже Ульянинъ отецъ стоялъ въ розовой высоко подпоясанной рубашкѣ съ палочкою въ рукѣ. Газета была старая, чуть ли не двумя недѣлями, но людямъ, приученнымъ моремъ и молитвами къ какому-то особенному вѣчному времячисленію, эти новости казались происшедшими минутой тому назадъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ же сплетались какъ-то непонятно не то съ отрывками изъ „Кирилловой книги“ объ Антихристѣ, не то съ бѣлымъ поморскимъ туманомъ.

„... Подъ дулами револьверовъ несчастнаго казначея заставили выдать городскія деньги; когда же оказалось, что этихъ послѣднихъ всего 263 рубля 73 коп., злодѣи разстрѣляли на глазахъ у него жену и дѣтей, потомъ и его самого“.

Читающіи и слушатели не дѣлали какъ-то разницы между случаями современной войны, гоненіями римскихъ императоровъ и исторіями изъ Лѣтописца. И такъ же благочестиво вздохнулъ кто-то:

— О Господи Іисусе Христе!

- Сюда-то, мамынька, не придутъ?
- Да какъ же имъ придти-то, откуда? отвѣчала баба такимъ тономъ, будто рѣчь шла о войскахъ Гога и Магога.
- А вотъ въ севастопольскую кампанію... — началъ съдой солдатъ, будто покрытый зеленью отъ старости — ... англичане къ намъ приходили, въ Соловки палили...
- Такъ то англичане, а не нѣмцы, дѣдушка...
- Англичане, англичане...
- А вотъ наши на морѣ видѣли корабль, не русский... подошелъ, постоялъ, постоялъ, и тихо назадъ пошелъ.
- Во снѣ видѣли-то?
- Нѣтъ, не во снѣ...
- А вотъ въ среду, такъ говорилъ Дементій, видѣлъ: лодка и два старца въ ней... видать, что старцы, а лицъ не разобрать, — будто нѣтъ. И ручекъ не чуть, одни рукава, а простираются вдаль... и голосъ слышенъ... Одинъ говоритъ: „Зосима, не пора ли? нашимъ туго“. А тотъ отвѣчаетъ: „Погоди, Савватеюшко, не торопись, еще справятся“. Такъ не то проѣхали, не то подѣ водой скрылися — больше не видно стало.
- Ну, это онъ изъ житія вычиталъ. Не то Св. Александра Невского, не то Александра Свирского.
- Большая разница: одинъ Благовѣрный Князь, другой — Преподобный.
- ... все сожигая на пути своего отступленія, угоняя скотъ и увозя всѣ цѣнныя вещи... продолжалъ читать писарь.
- А объявленіе будетъ?
- Какое объявленіе?
- Насчетъ того, какая вѣра правильная.
- Опомнилась! развѣ теперь такое время? Безо всякаго объявленія теперь нужно „Спаси, Господи“ къ небу кричать едиными устны и единымъ сердцемъ!
- Да, да. Правду ты говоришь.
- А вотъ въ Архангельскій, говорятъ, плѣнныхъ пригнали.. страшные! по-нашему не говорятъ.
- Это не плѣнные, это нѣмцевъ изъ Питера выслали. Плѣнные — тѣ съ номерами и въ кандалахъ.

— Нѣтъ, эти безъ номеровъ. И барыни ихнія съ ними. Тѣ еще злѣе, барыни-то!

— О, Господи, кѣ намъ бы не прислали!

— Не пришлютъ: у насъ мошкара заѣстъ... опять сырость...

— Говорятъ, казаковъ послали Англичанамъ. Нагрузили, будто хлѣбомъ, а тамъ все казаки... Наши видѣли... На каждомъ мѣшкѣ штемпель и орелъ, чтобы тамъ поняли. А атаманъ по палубѣ на волѣ гуляетъ съ пикой. Погуляетъ, погуляетъ — и пикой въ трюмъ постучитъ, значитъ — „живы ли, дѣтки“? Тѣ снизу отвѣчаютъ: „живы!“ и такъ дальше плывутъ...

Кирикъ, какъ застывшій, слушалъ, то-ли, что говорили, то-ли, о чемъ не было рѣчи.

На слѣдующее утро онъ пропалъ, исчезла куда-то и его лодка. Ульяна думала, что онъ спозаранокъ отправился рыбу ловить и просидѣла до вечера на кочкѣ, но Кирикъ не возвращался. Не возвращался онъ и на другой день, и на третій. Цѣлую недѣлю ходила Ульяна къ морю, потомъ перестала. А тутъ начались рассказы: то Кирика видѣли съ лодкой, то лодку безъ Кирика, что-то онъ даже кричалъ будто рыбакамъ, не то „горячо“, не то „хорошо“. Наконецъ и рассказы прекратились. Пропалъ Кирикъ, да и все тутъ. Весною часто рыбаки пропадаютъ, а онъ лѣтомъ пропалъ — все можетъ быть! Долго Ульяна крѣпилась, наконецъ сдалась и стала на ночь читать канонъ за „единоумершаго“. Слезы растопили окаменѣлость и растравили раны, такъ что можно было ихъ врачевать. Покровъ уже былъ близокъ, когда Ульяна, войдя въ келью матери Киликеи, поклонилась ей въ ноги и сказала:

— Къ твоей милости! возьми меня подѣ началъ, хочу постричься.

— Дѣло доброе, дѣло доброе! Блаженъ изволъ твой о Господѣ... — отвѣтила та, крестясь.

— Вся душа моя изныла, матушка! одна мнѣ радость, одно мнѣ спасенье — молиться, душу свою бѣлить передъ Господомъ,

Въ снѣгахъ кто-то быстро не по-скитски затопталъ, постучалъ безъ молитвы, Киликея недовольно молвила:

— Кто тамъ? съ цѣпи сорвался, что-ли?

Въ горницу вбѣжалъ подростокъ съ бумагой въ рукѣ.

— Тебѣ Ульяна, отъ Кирика письмо!

— Отъ Кирика? — спросила Ульяна, будто не понимая, и не подымаясь съ колѣнъ.

— Что за вздоръ? нешто могутъ съ того свѣта письма приходять? — разсуждала Киликея, межъ тѣмъ, какъ Ульяна на колѣняхъ еле разбирала отъ слезъ каракули. Наконецъ она опустила письмо и широко перекрестившись, воскликнула:

— Живъ, живъ!

— Дай-ка бумагу-то, — сказала Киликея, надѣвая очки. Въ письмѣ не менѣе фантастично, чѣмъ все, что говорилось въ селѣ, чѣмъ все, что тамъ представлялось, было описано, какъ Кирикъ нагналъ, дѣйствительно, судно съ казачьимъ отрядомъ, послѣ долгихъ скитаній высадился во Франціи и сражается противъ нѣмцевъ.

Прочитавъ письмо, Киликея обратилась съ улыбкой къ дѣвущкѣ:

— Такъ, какъ же, милая, постригаться-то повременишь?..

— Повременю, Киликеюшка.

— Ладно, ладно, воля твоя!

— Не сердись, матушка.

— Мнѣ что? твоя воля, твое и хотѣнье.

— Матушка!

— Что?

— Скажи мнѣ, что онъ вернется.

— Ужъ этого я не знаю. Какъ Господь разсудитъ.

— Нѣтъ, ты навѣрное скажи!

— Вотъ безумная-то пристала! Что я тебѣ — пророкъ или гадалка! какъ-же я могу это знать?

— А вотъ я не пророкъ и не гадалка, а знаю, знаю, что Кирикъ вернется!

И Ульянѣ такъ ясно представилось, какъ въ Кириковыхъ глазахъ вмѣсто голубыхъ свѣчей отражаются ружейные огни, что она повѣрила, что наступитъ время, когда въ этихъ взорахъ снова заблеститъ блѣдное родное небо, и море, и ея, Ульянины, глаза.

А. А. ИЗМАЙЛОВУ.

ПРАВАЯ ЛАМПОЧКА.

Онъ долго за нею ухаживалъ не только лѣтомъ, но и зимою, и наступившею весною, и новымъ лѣтомъ, несмотря на разразившуюся войну. Была ли это страсть, или упрямство, но Софью Петровну трогала такая постоянная влюбленность. Она уже нѣсколько отвыкла въ этой глуши отъ мрачныхъ вздоховъ, церемонныхъ провожаній, ночныхъ прогулокъ и нѣмецкихъ стиховъ. Штейнъ ей не слишкомъ нравился, но былъ лучше, интереснѣе другихъ въ городкѣ, куда судьба закинула ея покойнаго мужа и гдѣ она осталась, неизвѣстно почему. Неизвѣстно было также, почему живетъ здѣсь Эрнестъ Штейнъ такъ долго, развѣ только для того, чтобы вздыхать по Софи. Ей было приятно такъ думать, и она дольше останавливала свой взглядъ на скошенномъ лбѣ и выдающимся подбородкѣ своего поклонника, не спѣшила брать свою руку изъ его, безъ скуки слушала сентиментально - траурные стихи и даже согласилась сегодня навѣстить его. Она не думала, чтобы это приглашеніе значило что-нибудь другое, но если-бъ здѣсь былъ и тайный, но понятный смыслъ, она пошла бы. Она была свободна, и Штейнъ ей начиналъ нравиться; притомъ перспектива длительной и роковой страсти съ его стороны ее не только забавляла, но и приводила въ волненье. Эрнестъ жилъ зиму и лѣто на загородной мельницѣ на горѣ, гдѣ въ верхнемъ этажѣ ему было отведено двѣ комнаты съ окнами на широкую окрестность верстъ въ двадцать пять. Никому не казался страннымъ выборъ такого жилья, такъ какъ г. Штейнъ, не будучи барономъ, былъ тѣмъ не менѣе нѣмецкимъ поэтомъ, которому позволено имѣть свои фантази

и странности. Онъ говорилъ, что мельница—самый возвышенный пунктъ города, что ему очень удобно для занятій астрономіей, которымъ онъ предавался въ свободное время. Можетъ быть, къ числу странностей нужно было отнести и то обстоятельство, что для рѣшительнаго объясненія съ Софи онъ выбралъ именно это время, когда давно уже кругомъ пылала война. Софья Петровна не оставалась равнодушной къ событіямъ, но еще болѣе волновался Штейнъ, старавшійся узнавать всѣ подробности и выказывавшій патріотизмъ, которому позавидовалъ бы любой русскій.

Солнце только что сѣло, когда Софи достигла уединенной мельницы. Едва она вступила въ сѣни, какъ сверху сбѣжалъ взволнованный Штейнъ и она почувствовала, какъ ее цѣлуютъ, поднимаютъ чьи-то руки и несутъ быстро, какъ добычу, наверхъ.

— Что за безуміе, Эрнестъ! какъ же вы будете вести себя дальше? я даже жалѣю, что согласилась на этотъ визитъ... проговорила опущенная на полъ Софи, задыхаясь.

— Вы не будете жалѣть, увѣряю васъ. А теперь простите мой невольный порывъ. Я не могъ сдерживаться, видя васъ, мою богиню, мое счастье, у себя!..

— А у васъ здѣсь мило! романтично, но хорошо! напоминаетъ запущенные, но чистенькіе аббатства Вальтеръ Скотта... говорила Софи, осматривая помѣщеніе, тускло освѣщаемое одной лампочкой.

Дѣйствительно, стрѣльчатое окно, диваны съ высокими спинками, арматура на стѣнѣ и старинный портретъ,— было выдержано въ подновленно готическомъ стилѣ. Въ углу даже стоялъ вооруженный рыцарь съ подносиномъ въ рукахъ, предназначавшимся, вѣроятно, для визитныхъ карточекъ, но на которомъ теперь покоился лишь котелокъ и перчатки Эрнеста. Лишь столикъ съ закусками, виномъ и цвѣтами говорилъ о менѣе суровомъ времяпрепровожденіи.

— Очень мило! повторила еще разъ Софья Петровна—но почему такая темнота?—и она повернула кнопку.

— Ради Бога! — воскликнулъ Штейнъ.

— Что такое „ради Бога“?

— Не зажигайте огня! — и онъ повернулъ кнопку обратно.
— Почему это? я хочу посмотрѣть портретъ!
— Я его сниму со стѣны и поднесу ближе. —
— Зачѣмъ же его снимать, когда я могу такъ разсмотрѣть?
И потомъ, не станемъ же мы сидѣть въ такомъ полумракѣ?
Это, конечно, очень поэтично, но можно подумать, что вы не хотите видѣть моего лица!

— Кто же можетъ это подумать, Софи, Софи дорогая! —
— Да я первая. Ну полно, откройте свѣтъ, это смѣшно.
— Я не могу.
— Почему не можете? поверните кнопку — вотъ и все.
— Я не могу! — повторилъ Штейнъ, держа руку на выключатель.

— Это скучно, Эрнестъ! Не всегда упрямство хорошо. И потомъ, если вы упрямитесь, я тоже буду упрямой и хочу, чтобы вы зажгли правую лампочку.

— Я этого не могу.
— Вы меня бѣсите. Что же вы дали обѣтъ не зажигать ея? —
— Да я далъ обѣтъ.
— Какія глупости! какой обѣтъ! Что вы — масонъ, что ли? —
— Да, я — масонъ.
— Вы сочиняете. Масоны никогда не признаются въ томъ, что они масоны.

Штейнъ молчалъ. Софья Петровна надутю съѣла въ другомъ углу комнаты, наконецъ сказала:

— Что же, мы такъ и будемъ играть въ молчанку? я совсѣмъ не для этого сюда пришла. Зажгите свѣтъ и давайте ужинать.
— Я не могу.

Софья Петровна перешла къ креслу, гдѣ сидѣлъ Штейнъ и съѣвъ къ нему на колѣни, заговорила быстро и ласково:

— Но послушайте, милый Эрнестъ, будьте вѣжливымъ. Что же все „не могу“, да „не могу.“ Вотъ такъ поверните — и выйдетъ „могу“.

И она пыталась своею рукою повернуть пальцы Штейна, но тотъ держался крѣпко, будто впился.

— Это же не хорошо. Ну, васъ проситъ женщина, которой полагается быть капризной. Вы увѣряете, что меня любите, и

не можете уступить въ такомъ пустякъ.... Ну пожалуйста! Вамъ даже неудобно обнимать меня одною рукою. Ну? вы согласны? нѣтъ? вотъ противный нѣмецъ! Я, право, сейчасъ заплачу!

— Что вы со мной дѣлаете! — прошепталъ Штейнъ въ бореніи.

— Что я съ вами дѣлаю! Скорѣе, что я съ собою дѣлаю!.. Ну, хотите такъ: пусть обѣ лампочки горятъ во время ужина, а потомъ мы обѣ потушимъ... идетъ?

— Софи, Софи, богиня моя, крошка! — прошепталъ Эрнестъ, обнимая ее обѣими руками и не замѣчая, какъ проворная ручка Софьи Петровны пустила весь свѣтъ. Тогда гостя весело встала, говоря:

— А теперь будемте ужинать. Вышло по моему, все равно!

Штейнъ поднялся, какъ пьяный, повторяя:

— Все равно, все равно!

— Конечно, все равно. Развеселитесь и не дуйтесь. Дайте, я вамъ налью вина.

Минута погоняла минуту, стаканъ стаканъ, поцѣлуй поцѣлуй. Пора наступала тушить огни, какъ вдругъ Эрнестъ распахнулъ окно и высунулся въ темноту.

— Ну что тамъ? вамъ жарко? — разиѣженно спросила Софья Петровна, не двигаясь.

— Эрнестъ, закройте окно и подите сюда. Мнѣ холодно. Издали слышались пушечные выстрѣлы. Штейнъ быстро взялъ полевой бинокль и снова исчезъ въ окнѣ.

— Послушайте, это скучно. Ну что вы тамъ увидите въ темнотѣ? Или вы наблюдаете звѣзды? Это даже невѣжливо.

Эрнестъ повернулся къ говорящей; блѣдное лицо его дергалось.

— Я — предатель!

— Что вы говорите?

— Я предатель — повторилъ Штейнъ, не двигаясь.

— Послушайте милый, такія сцены хороши въ романахъ, но куда не годятся въ жизни. Я пришла весело и любовно провести время, а вовсе не выслушивать разныя штучки...

Она хотѣла продолжать, но ее прервалъ Штейнъ, вдругъ сдѣлавшійся какъ то еще выше, который закричалъ не своимъ голосомъ:

— Я — предатель, и вы этому виною. Я ненавижу вас!

Хмель и спокойствіе разомъ соскочили съ Софьи Петровны. Она приподнялась въ тревогѣ, думая, что хозяинъ сошелъ съ ума, а тотъ началъ бѣгать по комнатѣ, твердя:

— Все погибло, все погибло!

— Что погибло? — спрашивала Софи, ходя за нимъ по пятамъ.

— Правая лампочка не должна была горѣть! — отвѣтилъ Штейнъ, остановившись.

— Но какое отношеніе?...

— Она не должна была горѣть, а теперь непріятель избѣгъ ловушки.

— Нѣмцы насъ обошли?

— Нѣтъ, русскіе вывернулись.

— Слава Богу!

— Теперь вы понимаете?

— Понимаю, понимаю... — зашептала Софья Петровна, пятясь къ дверямъ.

— Что дѣлать теперь? — воскликнулъ Штейнъ, опускаясь въ кресло и закрывая лицо руками. Софи у дверей молчала, прислушиваясь къ пальбѣ.

— Вы понимаете, что я надѣлалъ что вы надѣлали?

Софья Петровна начала съ трудомъ:

— Вы должны были извѣщать враговъ сигналами о томъ, что дѣлается у насъ, о передвиженіи нашихъ войскъ... я не знаю.

— Да, да. И я, какъ мальчишка, размякъ и предалъ!

Въ молчаніи раздался голосъ Софи отъ двери:

— Вы — предатель, двойной предатель и глупый предатель. Вы предали страну, которая васъ приняла, какъ родного, вы предали своихъ и какъ глупо, избѣ за какого пустяка!

Штейнъ вдругъ поднялъ голову.

— Вы, тамъ! можетъ быть, вы догадывались, можетъ быть, вы были подсланы нарочно!

— Нѣтъ. Если бы я догадывалась, васъ давно не было бы въ городѣ. Нѣтъ, я не знала, я — не героиня. Я благодарю Небо, что черезъ мою слабость такъ все устроилось, но не могу взять этой чести на себя. Но повѣрьте: пусть обо мнѣ

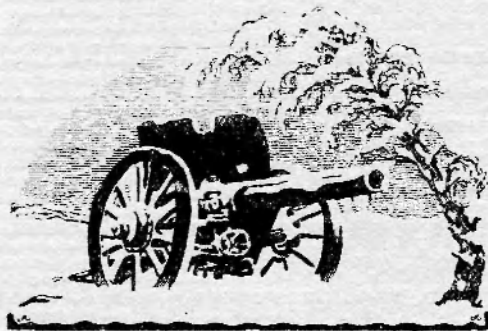
думаютъ, что хотятъ, — себя я не пожалю, но и о васъ будутъ знать, что вы за птица!

— Да, если вы отсюда выйдете живою...

Штейнъ быстро всталъ, но дверь еще быстрѣе захлопнулась и замкнулась снаружи вытасненнымъ заранѣе ключемъ.

— Послушайте, я, конечно, шутилъ, но бросьте и вы эти шутки! — кричалъ Штейнъ, колотя въ двери кулакомъ.

— Я вовсе не шучу — слышалось изъ-за двери. — И еще вотъ что, г. Штейнъ, я вамъ всетаки благодарна за сегодняшній вечеръ и нисколько не жалю о своемъ визитѣ, — вы были правы.



М. Н. БЯЛКОВСКОМУ.

ДВА БРАТА.

I.

Было почти невозможно признать за родных братьев Леонида и Андрея Петровичей Загорских, увидя их рядом, но когда встречали их порознь, то чѣмъ-то сходилось крупное съ прямымъ носомъ и большими карими глазами лицо старшаго шатена съ курносомъ, круглымъ въ рыжеватыхъ кудеркахъ лицомъ младшаго Андрея. Общимъ было выраженіе какого-то прямодушнаго упрямства и, пожалуй, смѣлости, хотя, какъ людямъ благовоспитаннымъ и мирнымъ, смѣлость свою имъ не представлялось частыхъ случаевъ выказывать.

Но въ этотъ день, повидимому, старшему Загорскому приходилось прибѣгать именно къ своей смѣлости, что сильно беспокоило, не будучи отъ него тайной, Андрея Петровича. Собственныя же качества въ другихъ всегда кажутся болѣе очевидными и сопряженными съ большимъ рискомъ. Впрочемъ, какому же риску подвергается Леонидъ Петровичъ, объясняясь на чистоту, рѣшительно съ тою, которую онъ любилъ со всею смѣлостью и упрямствомъ?

Варвара Игнатьевна Кольцова сама была не робкаго десятка, соединяя съ увѣренностью въ себя чисто дамскую изворотливость и право нелогичными скачками сбивать съ толку кого угодно. Если же начать отыскивать какую-нибудь связь въ ея рѣчахъ, то окончательно пропадешь и признаешь ея побѣду.

Андрей отлично зналъ все это и перелистывалъ книгу, едва ли слѣдя за ея содержаніемъ, прислушиваясь, не стукнетъ ли

садовая калитка, которой съ балкона ему не было видно изъ-за разросшихся цвѣтовъ настурцій. Онъ будто самъ находился тамъ, во временной дачной гостиной Варвары Игнатьевны. Вотъ входитъ Леонидъ; навѣрное, зацѣпилъ за одинъ изъ тяжелыхъ стульевъ, почему-то всегда стоявшихъ у Кольцовой криво, какъ попало. Хозяйка поднимается ему навстрѣчу, изображая недоумѣніе, хотя свиданіе это не неожиданное, назначенное ею самою, выпрошенное Загорскимъ. Варвара Игнатьевна готова къ объясненію и по дергающимся губамъ и разсѣянному взору можно заключить о зайчикахъ предстоящаго разговора, которые сейчасъ будутъ дразнить, злить, увлекать и сбивать съ толку собесѣдника. Будетъ ли она нѣжна, горда, недоступна, насмѣшлива, ласкова — ничего не извѣстно. Вѣроятно же всего, что она все это соединитъ такъ своеобразно, что Леонидъ по прямотѣ и разсудительности сразу разсердится, почувствуетъ себя виноватымъ и дастъ себя побѣдить такой именно побѣдою, какой захочетъ соперникъ. Варвара Игнатьевна всегда вела единоборство и именно самыми легкими и безъ ошибки дѣйствующими средствами.

Андрей такъ живо представилъ себѣ всю сцену объясненія у Кольцовой, что не слышалъ, какъ стукнула калитка, и выбѣжалъ въ садъ послѣ того, какъ туда же съ лаемъ помчался рыжий щенокъ, спавшій доселѣ у него подъ кресломъ. Загорскій ничего не спросилъ у брата, такъ какъ безъ словъ увидѣлъ по лицу того, что произошло. Онъ молча взялъ Леонида Петровича подъ руку и только дойдя до небольшого общаго кабинета спросилъ:

— Что же дѣлать теперь, Леня?

Тотъ молча сѣлъ на кожаный диванъ, не мѣняя растерянаго выраженія, и машинально чистилъ рукавъ пиджака, будто сметая непріятныя воспоминанія. Наконецъ, началъ медленно и монотонно, будто собираясь такъ говорить долгое время, даже не обращая большого вниманія на слушателя:

— Теперь у меня ничего не осталось. Ты не можешь себѣ представить, какая пустота въ моей душѣ! Не службой же въ канцеляріи мнѣ жить! У меня нѣтъ ни искусства, ни науки, ни спеціальной религіозности. Я, конечно, человекъ вѣрующій и

даже церковный, если хочешь, но это не наполняетъ моей жизни, понимаешь, жизни! Все было въ моей любви и она осталась мнѣ на муку! Теперь мои дни наполнятся только терзаніями. Къ чему мнѣ обратиться, что мнѣ дѣлать? Это какое-то общее крушеніе для меня. Что-жъ теперь, разыгрывать послѣдній дурацкій актъ и пускать себѣ пулю въ лобъ?

— Конечно, нѣтъ! — быстро отвѣтилъ Андрей, и даже схватилъ братнину руку.

— Но что же тогда мнѣ дѣлать?

— Я не знаю. Ты все говоришь только о себѣ; пожалуй, я тебя понимаю, но не знаю, что тогда тебѣ посоветовать. Если бы ты думалъ о другихъ, отвѣтовъ была бы сотня.

— Ахъ, жить для другихъ? Слышали эту пѣсню! Но для кого же прикажешь жить, кому я нуженъ?

— Хотя бы для меня. Начни съ одного человѣка.

— Слова, слова и слова!

— Отъ насъ зависитъ сдѣлать ихъ не словами!

Леонидъ Петровичъ махнулъ рукою, задумался. Темнѣло поіюльски, изъ сада несло сыримъ запахомъ цвѣтовъ, далеко съ вокзала была слышна военная музыка. Младшій Загорскій зажегъ на столѣ свѣчи, которыя безъ вѣтра, не оплывая, прямо и неподвижно зажелтѣли, — и снова сѣлъ рядомъ съ братомъ.

— Если-бъ ты зналъ, Андрюша, какъ я просилъ, унижался... У нея брови иногда такъ сходятся, такъ чудесно, что нестерпимо смотрѣть.

— Не надо, не надо вспоминать!

— Этимъ только мнѣ и жить, и терзаться.

Помолчавъ, Леонидъ Петровичъ, будто со сна, спросилъ:

— Сегодня царскій день?

— Нѣтъ. Почему?

— Почему же играютъ гимнъ и кричатъ ура?

— Я не знаю.

Издали торжественно, грозно и таинственно, дѣйствительно, лилась во мракъ мѣдная мелодія, теряясь за широкимъ прудомъ въ поляхъ. Потомъ крики. Опять. Еще трубы. Снова крики. Пламя свѣчъ будто отъ нихъ заколебалось.

— Что это?

— Ты не читалъ эти дни газетъ. Вѣроятно, объявлена война.

— Война... — повторилъ раздѣльно Леонидъ. — Война! — повторилъ онъ еще разъ очень громко, и потомъ быстро, быстро заговорилъ, будто слово подгоняло другое: — Андрюша! это — отвѣтъ! Судьба, Богъ, не знаю что, мнѣ указываетъ путь! Я же — запасной, я буду посланъ и вотъ, и вотъ я все забуду, я найду снова себя и душу.

✓ Андрей тихо отвѣтилъ:

— Найдешь себя, если о себѣ забудешь.

Но старшій его какъ бы не слышалъ, онъ бѣгалъ по небольшой комнатѣ, раздувая свѣчи поворотами и сжавъ крѣпко руки.

— Да, да... это такъ, это такъ! — повторялъ онъ, прислушиваясь, какъ изъ темноты снова раздавались крики, потомъ такой извѣстный, но будто впервые понятый до глубины, напѣвъ и опять крики въ черное небо.

II.

Дѣйствительно, новое положеніе какъ бы влило новый свѣтъ въ душевное устройство Леонида Петровича, направивъ его воображеніе въ сторону одинокаго геройства. Андрей Петровичъ пошелъ по своему желанью, будучи здоровымъ и ничѣмъ особенно не связаннымъ молодымъ человѣкомъ, въ армию и даже въ тотъ именно полкъ, гдѣ находился и старшій братъ. Онъ наблюдалъ съ интересомъ и тайной надеждою, какъ перемѣна жизненныхъ условій, внѣшней обстановки и интересовъ дѣйствовала на Леонида, будто ожидая, когда же наступитъ то настоящее измѣненіе, которое, казалось ему, такъ необходимо было смѣлому и открытому, но слишкомъ самодовлѣющему характеру неудачнаго возлюбленнаго Варвары Игнатьевны.

Съ послѣдней Леонидъ Петровичъ не видѣлся передъ отъѣздомъ, даже не извѣщалъ ее о своемъ рѣшеніи, о которомъ она, конечно, узнала, какъ о всемъ узнаешь на дачѣ, но которое не ставила ни въ какую связь со своимъ послѣднимъ объясне-

ніемъ, такъ какъ старшій Загорскій былъ запаснымъ, а отноше-
ніе его къ предстоящему поступленію въ армію не было ей
извѣстно. Поступками младшаго брата Кольцова и совѣмъ не
имѣла причины интересоваться. Леониду было совершенно не-
извѣстно, въ какомъ состояніи оставилъ онъ ту, мысль о комъ, ему
казалось, не переставала руководить его чувствами и дѣйствіями.

Онъ не могъ дожидаться, когда же ихъ полкъ достигнетъ
мѣста конечнаго назначенія и вступитъ въ настоящее дѣло.
Польскія мѣстечки и еврейскіе городки его ни мало не интересо-
вали, равно какъ и разговоры, планы, надежды и сожалѣнія
товарищей. Онъ все время словно прислушивался, что дѣлается
внутри его души, и Андрей замѣчалъ все болѣе крѣпкое и
какое-то одинокое выраженіе на лицѣ брата. Младшій Загор-
скій зато какъ-то сразу занялъ положеніе самого обыкновен-
наго и своего въ полковой средѣ. Его прямотуше, веселость и
видимая доброта располагали всѣхъ въ его пользу, а простота
обращенія и беззаботность его дѣлали вездѣ желаннымъ и пріят-
нымъ собесѣдникомъ. Ничѣмъ особеннымъ его не считали, но
просто любили въ противоположность Леониду Петровичу, къ
которому относились холодновато, но котораго почитали за
человѣка необыкновеннаго и отъ храбрости котораго ждали
очень многого.

Загорскій не обманулъ этихъ ожиданій и дѣйствительно,
при первыхъ же перестрѣлкахъ и стычкахъ съ непріятелемъ
выказалъ незаурядное присутствіе духа и отвагу.

Въ первый же разъ, какъ въ бинокль онъ замѣтилъ за мел-
кимъ кустарникомъ прусскія каски въ защитныхъ чехлахъ, онъ
сказалъ, обращаясь къ стоявшему рядомъ Андрею:

— Вотъ начинается! Слава Богу, — сдѣлаюсь другимъ.

Тотъ тутъ ничего не отвѣтилъ, только улыбнулся ласково
и подбодряюще, а ночью спрашиваетъ:

— Ты не писалъ, Леня, Варварѣ Игнатьевнѣ ничего?

Леонидъ не сразу отвѣтилъ и младшему брату показалось,
что, навѣрное, тотъ въ темнотѣ нахмурился. Ктому же и от-
вѣтилъ онъ тоже вопросомъ:

— Что тебѣ вздумалось говорить объ этомъ? Я стараюсь,
наоборотъ, совершенно забыть о ней.

— Я такъ. Ты утромъ сказалъ, что дѣлаешься другимъ, — я обманулся, я думалъ, ты перестанешь только о себѣ думать. А о комъ же и подумать въ первую голову, какъ не о той, которую ты такъ любилъ? Въдь она, можетъ быть, тебя любить, и Богъ знаетъ, что думаетъ.

— Ну, знаешь: когда любятъ, иначе ведутъ себя. Я не знаю, что ты тамъ навоображалъ, но по-моему, какъ-то даже не деликатно зудить человѣка, который хочетъ себя перестраивать.

Какъ же Андрею было спрашивать, или обращать вниманіе брата на себя, или товарищей, когда онъ такъ устремился въ забвенное геройство, что только о немъ и думалъ?!

Но Леонида и собственное геройство радовало какъ-то не потому, что онъ спасалъ товарищей, помогалъ побѣдѣ, а слѣдовательно, и торжеству родины, — нѣтъ, онъ веселился тѣмъ запасомъ, самимъ по себѣ, отваги и безстрашья, который открывалъ въ своей душѣ.

Провидѣніе хранило его. Ни въ одномъ изъ самыхъ отчаянныхъ положеній онъ не былъ раненъ. Оставался невредимъ и младшій братъ, почти ни на шагъ не отстававшій отъ Леонида. Хотя онъ подвергался, слѣдовательно, тѣмъ же опасностямъ, никто ему этого въ подвигъ не ставилъ, да и онъ самъ удивился бы, узнавъ, что дѣлаетъ что-то героическое. Къ брату онъ уже не обращался съ разговорами, которые могли бы показаться неумѣстными и недоудливыми, а если говорилъ, то о самыхъ простыхъ предметахъ, не заключавшихъ въ себѣ никакого намека на желаніе узнать душевное настроеніе Леонида. Даже иногда съ наивнымъ лукавствомъ нарочно заводилъ рѣчь о первыхъ попавшихся вещахъ, чтобы отвлечь того отъ самосозерцанія.

Бдучи въ небольшомъ отрядѣ по плоскому болотистому полю, онъ все повторялъ:

— Нѣтъ, ты посмотри, Леня, до чего это похоже на какой-нибудь Порховской уѣздъ! Сколько разъ я ѣздилъ за границу, но никогда мѣста, какъ слѣдуетъ, не узнаешь, покуда не исходишь его ногами, или не изѣздишь на лошадахъ. Изъ окна вагона все кажется не настоящимъ.

Леонидъ молчалъ, зорко оглядываясь по сторонамъ.

— И какое умильное, незатѣйливое небо! будто полинявшее любимое мамино платье! — не унимался Андрей.

— Да, да... Славный ты, Андрюша! — молвилъ старшій, но вдругъ нахмурившись, остановился, такъ какъ переднія лошади тоже тревожно стали.

— Что это?

Но внезапный трескъ выстрѣловъ сбоку и тупой звукъ копытъ по мху показалъ, что непріатели оказались ближе, чѣмъ предполагалъ нашъ развѣздъ. Эта опасность не была новостью Загорскимъ, и Леонидъ, обнажая саблю, только успѣлъ замѣтить, какъ голубѣетъ въ ней „умильное“ небо. Можетъ быть, не нужно было этого замѣчать, потому что онъ вдругъ почувствовалъ, что тихо сползаетъ на бокъ сѣдла. Совсѣмъ близко молодой нѣмецъ замахивается на него саблей, опускаетъ ее, но удара Леонидъ не чувствуетъ, только валится, какъ въ постель, а лошадь изъ подъ него вырывается.

Лишился сознанія, но, вѣроятно, на короткое время, такъ какъ, открывъ глаза, еще видѣлъ скачущихъ нѣмцевъ и нашихъ, человекъ восемь лежало, билась на спинѣ лошадь. Другое лицо наклонилось. Тотчасъ закрылъ глаза.

— И этотъ убить! — проговорили.

Приподняли голову и отпустили. Онъ далъ ей больно стукнуться, только чтобы тѣ скорѣе уходили. Все стихло. Леонидъ попробовалъ приподняться. Небо сдѣлалось краснымъ, закружилось, горячая боль прошла по рукъ и опять память оставила его. Очнувшись, онъ долго не могъ понять, гдѣ онъ находится и въ чемъ дѣло. Рѣдкіе и неровные толчки прерывали болѣе постоянное колыханье, возобновляя нестерпимую боль, отъ которой онъ хрипло застоналъ. Его не совсѣмъ ловко опустили, колыханья прекратились и около себя онъ увидѣлъ лицо Андрея. Какой онъ рыжій! Мѣстность — не та, но похожая.

— Не говори... не трогайся... я сейчасъ отдохну... опять пополземъ... встрѣтимъ... не горюй!..

— Ты — то же? — съ трудомъ сказалъ Леонидъ.

Андрей улыбнулся.

— Да... я тоже... я тоже раненъ.

— Господи! — подумалъ старшій, — значитъ, это онъ меня тащилъ, самъ раненый!

Онъ хотѣлъ пожать хоть руку Андрею, но собственная не повиновалась. Но почему-то вдругъ стало необыкновенно спокойно, какъ въ дѣтствѣ, даже не хотѣлось, чтобы братъ волокъ его куда-то дальше, но казалось невозможнымъ, что тотъ уйдетъ. Опять приоткрылъ глаза; можетъ быть, и не открывалъ, а такъ представилъ себѣ умильное лилючее небо, какъ мамино любимое платье.

III.

Андрей не ошибся; они допозли до первыхъ встрѣчныхъ нашихъ отрядовъ, гдѣ имъ и оказали помощь. Какъ это ни странно, младшій Загорскій оказался въ болѣе тяжеломъ положеніи, нежели Леонидъ. Можетъ быть, усилія, которыя онъ употреблялъ, таща брата, истощили его. Обоихъ ихъ отправили въ Кіевъ, гдѣ въ свѣтлой небольшой палатѣ они и ждали выздоровленія, когда можно было бы снова вернуться въ дѣйствующую армію. Собственно говоря, старшій уже могъ бы ухачь, но онъ поджидалъ Андрея, котораго не хотѣлъ оставлять. Когда они оба лежали, онъ все беспокоился о братѣ, забывая свои раны, и въ бреду ему представлялось, будто это онъ уже тащитъ Андрея черезъ мховые холмы, утѣшаетъ и говоритъ о дѣтствѣ. Теперь же онъ сталъ нѣжнѣйшей сидѣлкой, заботливой и внимательной, словно позабывъ совершенно заниматься постоянно состояніемъ своей души. Андрей не хотѣлъ спугивать этого двойного выздоровленія и тихо сіалъ, не говоря ни слова.

— Тутъ только понимаешь, какая масса времени въ одномъ днѣ. Только что я ходилъ въ сосѣдную палату, бесѣдовалъ съ солдатомъ раненымъ. Занятно! Какъ онъ обрадовался, бѣдняга! Оказывается, изъ нашихъ мѣстъ, изъ-подъ Калуги.

Андрей былъ бы радъ лежать совсѣмъ заброшеннымъ, только бы его братъ, когда посѣщалъ его, говорилъ такія слова. Леонидъ сталъ читать газеты.

— А по-моему, мы отлично побѣдимъ, не можетъ быть никакого сомнѣнія. Дай-то Богъ тебѣ скорѣе поправиться, чтобы намъ опять туда поѣхать!

— И поѣдемъ скоро, скоро!— отвѣчалъ младшій и вдругъ заплакалъ.

— Ты что, что ты?

— Ничего. Я очень счастливъ!

— Знаешь, что? Я тоже какъ-то счастливѣе теперь. То есть, я не думаю, счастливъ я, или нѣтъ.

— Ты измѣнился, правда?— произнесъ Андрей робко.

Леонидъ промолчалъ, слегка нахмурясь.

— Не надо упрямяться... не надо, ну!.. — ласково продолжалъ Андрей.

Леонидъ улыбнулся, будто черезъ силу и тихо молвилъ:

— Пожалуй. О ней я не думаю.

— Когда опять, но по-другому будешь думать, тогда и всѣмъ будетъ хорошо.

— Какія-то загадки?

— Съ очень хорошими разгадками, повѣрь.

Утромъ черезъ нѣсколько дней младшему Загорскому прислали букетъ розъ, съ которыхъ капала вода на бѣлый краше-ный столикъ.

— Отъ кого? — спросилъ, входя, Леонидъ.

Андрей, не отвѣчая, улыбался, расширивъ ноздри, будто что бы лучше чувствовать сладкій и томный запахъ.

— Отъ неизвѣстной поклонницы? Вотъ плутъ! Въдь ты у меня — красавецъ!

А растрепанный, небритый красавецъ только отвѣчалъ:

— Не отъ поклонницы, а отъ человѣка очень извѣстнаго и тебѣ, и мнѣ...

— И мнѣ даже? — спросилъ, насторожившись, старшій.

— Да. Тамъ въ ящикъ письмо. Оно скорѣе предназначено тебѣ.

— Отъ Варвары Игнатьевны? Я не буду его читать!

— Почему?

— Потому что не хочу. И потомъ, она писала тебѣ, зачѣмъ же я буду читать чужія письма!

— Да. Письмо адресовано мнѣ, но предназначено для тебя. Я прошу тебя прочесть его. Повѣрь, тебѣ же будетъ лучше, тѣмъ болѣе, что прочитать нѣсколько строкъ тебя ни къ чему ни обязываетъ.

— Надѣюсь.

— Ну, вотъ и исполни мою просьбу.

Леонидъ пожалъ плечами, однако, выдвинулъ ящикъ, какіе бывають въ кухонныхъ столахъ. Онъ читалъ гораздо долѣе, чѣмъ, казалось, требовали три странички небольшого листа. Андрей лежалъ недвижно, смотря, какъ на столъ образовывалась выпуклая, медленно подвигавшаяся лужица отъ цвѣтовъ.

— Она, значитъ здѣсь? — спросилъ, наконецъ, старшій

— Да. Она узнала изъ газетъ и поѣхала къ намъ... Къ тебѣ. Она любитъ тебя.

Леонидъ поморщился.

— Опять все строить сначала! Вѣдь я-то уже не тотъ.

— Вотъ потому-то ты и можешь ее видѣть.

— Какъ видѣть?

— Она сейчасъ придетъ сюда.

— Андрей!...

— Она тоже уже не та... — началъ было младшій, но отъ двери, какъ продолженіе его рѣчи, раздалось:

— Да. Я уже не та. Я люблю и любила васъ, Леонидъ Петровичъ, но думала только о себѣ и потому не могла понимать. Простите меня... Теперь я оцѣнила и ваши чувства, и ваше геройство... Простите меня...

— Варвара Игнатьевна, — перебилъ ее Андрей, — не надо! Вы все это написали въ письмѣ гораздо лучше, а братъ читалъ его. Пусть Леонидъ только посмотритъ на васъ, — вотъ все, что надо.

— Да, да... Только посмотритъ — повторяла растерянно поѣздительница.

Леонидъ не двигался, не поднималъ глазъ. Наконецъ, взглянулъ и вдругъ поцѣловалъ брата.

— Спасибо, Андрюша.

— За что, за что?

— Такъ это правда? — сказала Кольцова и двинулась ближе.

— Правда, правда! Только теперь я счастливъ. Эту недѣлю мы не будемъ разставаться.

— Недѣлю?.. Ахъ, да! Вѣдь вы опять уѣзжаете... и вы должны ѣхать! Я буду еще счастливѣе, потому что теперь я думаю о себѣ послѣдней. Вы не будете убиты, а если... а если... не сердитесь, Леонидъ Петровичъ, теперь я знаю, какъ быть счастливой!

— Думать о другихъ?

— Нѣтъ. Это похоже на мораль. Но давать всѣмъ приближающимся нужное имъ счастье. Любить ихъ.

— Но меня больше другихъ?

— Если вы отъ этого счастливы — хорошо.



В. Д. ФИНТИ.

ТРЕТІЙ ВТОРНИКЪ.

Сегодня провожала мужа. Мнѣ хотѣлось плакать, не скрою, но я замѣтила, что всѣ провожавшіе крѣпились, и я сдержалась. И потомъ это могло бы показаться лицемѣріемъ. Конечно, Алексѣй Петровичъ ничего не знаетъ, но я сама-то знаю. Мнѣ стало досадно, что въ голову мнѣ прихѣдитъ Ипполитъ... не надо, не слѣдуетъ! Я внимательно стала смотрѣть на озабоченное, какое-то посѣрѣвшее лицо мужа, чтобы отогнать отъ себя другое лицо съ выпуклыми карими глазами, темными усами, полное и розовое. Другимъ оно показалось бы нѣсколько животнымъ. Можетъ быть, это и правда, но минутами я забываю объ этомъ. Конечно, это — минуты слабости, но онѣ мнѣ всего дороже. Все это такъ недавно, такъ неожиданно случилось, какъ говорятъ, налетѣло, что я сама еще не могу сообразить, какъ это могло произойти. У меня бываютъ секунды странной разсѣянности, будто меня только что разбудили и я смотрю на себя, словно со стороны. Сейчасъ мнѣ трудно представить, что уѣзжающій — мой мужъ, Алексѣй Петровичъ. Конечно, я люблю его, но у меня не было слабости, не было забыванія чего-то при немъ, и никогда не было. А съ Ипполитомъ было; вѣроятно, потому я его и люблю. Но иногда онѣ мнѣ бываетъ противенъ. Будто что-то освѣтитъ его по другому... Можетъ быть, это и называется „опомниться?“ Я не знаю. Страшная лѣнь думать! Мужъ цѣлуетъ и креститъ Сережу, поднимаетъ его. Поднявъ вуаль, я замѣчаю, что у меня все лицо мокро отъ слезъ.

— Не надо, Аня, такъ огорчаться. Все будетъ прекрасно.

Если бы поѣздъ не долженъ былъ сію секунду трогаться, я бы во всемъ призналась мужу, и поступила бы нехорошо. Нужно мучиться и выворачиваться самой. Но я что-то не очень мучусь, вотъ въ чемъ дѣло. Рядомъ пожилая дама, не отрываясь, цѣлуетъ молодого офицера. Мнѣ хочется увидѣть его лицо, но дама не отпускаетъ: все цѣлуетъ и креститъ, креститъ и цѣлуетъ. Если онъ похожъ на мать, онъ долженъ быть очень красивъ. Не представляешь себѣ, что этотъ молодой человекъ, Алексѣй Петровичъ, всѣ ѣдутъ сражаться и могутъ быть убиты. Вагоны такіе же, какъ для поѣздки въ Крымъ, за границу, въ словахъ кондукторовъ нѣтъ ничего особеннаго, и отбѣзжающіе такіе, какъ часто бываютъ отбѣзжающіе. Женщины плачутъ, но когда же онъ не плачутъ? Вотъ я заплакала, вспомнивъ о любовникѣ... Боже мой, Порчевъ — мой любовникъ! И онъ ждетъ меня у подбѣзда вокзала... Надо не позабыть отослать Сережу съ нянькой домой. Неужели Алексѣя Петровича убьютъ? Говорятъ, тамъ, на мѣстѣ люди чувствуютъ себя спокойнѣе и проще. Я этому вѣрю. Но я такъ боюсь мертвыхъ, т. е. покойниковъ... я даже не была на похоронахъ дяди Марка. Мужъ стоитъ уже на площадкѣ. Еще разъ цѣлую его. Плачу, сморкаюсь.

— Не оступитесь, сударыня, поѣздъ сейчасъ трогается! — говоритъ мнѣ изъ окна молодой офицеръ. Онъ, дѣйствительно, очень красивъ, но совсѣмъ не похожъ на мать.

— Аня, условимся такъ, голубка: думай обо мнѣ крѣпко, крѣпко въ третій вторникъ, отъ сегодняшняго считая. И я буду думать.

— Да. Ну, и что же выйдетъ?

— Вотъ мы посмотримъ.

— Третій вторникъ? хорошо.

— Я, конечно, буду писать. Не забудь позвать Вяжлинскаго. Сережа что-то кашляетъ.

— Хорошо, хорошо.

— Смотри, не забудь. Ты самъ, Сережа, напомни мамѣ, чтобы позвонила доктору.

— Я не забуду.

Фигура Алексѣя Петровича пошатнулась и двинулась. Сережа побѣжалъ впередъ козликкомъ. Старую даму вела подъ руки молодая дѣвушка и ливрейный лакей. Да, нужно отыскать

няньку и отправить съ мальчикомъ. Но ея нигдѣ не видно. У фонаря ждетъ Ипполитъ!.. Какъ же съ нянькой? Эти старухи такъ безтолковы!

— Мама, гдѣ же няня?

— Я не знаю, я сама смотрю, гдѣ она.

— Богъ съ нею! она пріѣдетъ... поѣдемъ вдвоемъ!

— Я хотѣла зайти еще въ одно мѣсто...

— Не стоитъ, мама. Поѣдемъ домой — папы нѣтъ!

— Ты, все равно, сейчасъ ляжешь спать.

— И ты ложись.

Няньки такъ и не отыскали. Пришлось ѣхать домой. Не знаю, видѣла-ли Ипполитъ, какъ я садилась на извозчика. Ну, позвоню ему, извинюсь... А то, правда: я какъ-то устала сегодня, да и неудобно, отчасти, въ первый же день отлучаться изъ дому.

Какъ это ни странно, но съ отъѣздомъ мужа, у меня будто меньше свободного времени. Сережа, дѣйствительно, немного прихворнулъ, но не въ этомъ, конечно, дѣло, а воздухъ какой-то другой сдѣлался. Въ тотъ первый день Ипполитъ не разсердился; огорчился, разумѣется, но понялъ меня. Онъ, бѣдный, кажется, наоборотъ, рассчитывалъ на это время, какъ на время усиленной любви. Онъ думалъ, что мы почти не будемъ разставаться. Можетъ быть, это было бы естественно, но какъ-то не вышло, я не знаю отчего. Я не перестала его любить, отнюдь нѣтъ, даже тѣ не частыя минуты, что мы съ нимъ видѣлись, меня радовали больше прежняго, но мнѣ все вспоминается тотъ вечеръ, какъ я провожала мужа. Неужели я влюбилась въ того мальчика, котораго крестила и цѣловала мать? Онъ очень красивъ... Но, нѣтъ, нѣтъ... когда я точно вспоминаю, мнѣ дѣлается яснымъ, что этотъ офицеръ — не болѣе, какъ деталь, обстановка, а главное, главное — это неожиданно сознанный чувство, что я провожаю на войну и что уѣзжающій — мнѣ мужъ и перестаетъ уже быть просто Алексѣемъ Петровичемъ, а дѣлается чѣмъ-то большимъ, болѣе значительнымъ.

Тогда я не такъ ясно себѣ это объясняла, но теперь вижу, что это было именно такъ.

Сегодня мы условились провести день вмѣстѣ. Сережѣ легче, и онѣ на недѣлю отосланѣ къ моей сестрѣ въ Царское, такъ что я не только свободна, но даже чувствую себя нѣсколько одинокой. Какъ это часто бываетъ, заранѣе назначенное удовольствіе и веселье не удавались. Ни завтракъ, ни катанье, ни обѣдъ, ни театръ — ничто не приводило бездумнаго веселья, на которое мы разсчитывали. Я старалась, какъ могла, наполнить день такимъ образомъ, чтобы все время быть на людяхъ, не оставаться вдвоемъ. Не знаю, замѣтилъ ли это Ипполитъ, но къ концу вечера его глаза дѣлались все печальнѣе, будто у дѣтей, которые не просятъ, но ждутъ обѣщаннаго подарка, а его все нѣтъ, и нѣтъ.

— Тебѣ не холодно? — спросилъ Ипполитъ въ театрѣ.

— Нѣтъ, — отвѣчала я, еще не понимая, къ чему завелъ онѣ разговоръ.

— Ужасно скучная пьеса! — сказалъ онѣ болѣе ясно.

Оставался еще цѣлый актъ. Въ антрактѣ я видѣла, что Ипполиту очень хочется задать мнѣ одинъ вопросъ, отлично мнѣ извѣстный, но на который я не могла себѣ отвѣтить. Мнѣ сдѣлалось досадно и на себя и на него; на свою нерѣшительность и на его нечуткость. Я сердилась, зачѣмъ онѣ объ этомъ думаетъ и зачѣмъ онѣ не говоритъ просто. Но его, не привыкшее къ выразительности, лицо было такъ печально, что мнѣ сдѣлалось его почти жалко. Я старалась все говорить, какъ могла мягче, но вышло все-таки ворчливо:

— Ипполитъ, ты совершенно правъ: и холодно, и скучно. Проводи меня домой.

— Ты хочешь ѣхать къ себѣ?

— Да. Проводи меня.

Кажется, онѣ не переставалъ еще надѣяться.

— А я дома у себя приготовилъ закусить.

— Развѣ мы уславливались ѣхать къ тебѣ?

— Я такъ думалъ, что это само собой разумѣется. Мы не уславливались, мнѣ просто очень хотѣлось этого.

Онѣ сконфуженно и недовольно умолкъ.

— Я не предполагала этого. Отложимъ до другого раза. Я поѣду домой. Проводи меня.

Только когда я простилась съ нимъ у подѣзда, не приглашая зайти, онъ понялъ, что сегодняшній день потерянь.

Отъ Алексѣя Петровича получила два письма. Онъ уже участвовалъ въ бою, описываетъ просто, безъ ужасовъ, такъ же, какъ переходы, какъ справляется о домѣ, о Сережѣ, обо мнѣ. Эти безхитростныя строки я сама оживляла красками, картинами и представляла себѣ все гораздо ярче, чѣмъ при чтеніи художественныхъ рассказовъ, или патетическихъ корреспонденцій. Я перечитывала многія мѣста по нѣскольку разъ и всегда воображала по разному: то со стороны картинности, то со стороны психологіи, то со стороны идейности великой кампаніи. Однажды, поймавъ себя на этомъ занятіи, я словно опомнилась и мнѣ стало стыдно. Неужели я такъ безсердечна, такъ суха и равнодушна, что могу предаваться фантазіямъ, между тѣмъ, какъ живой человѣкъ, мой мужъ, передъ которымъ къ тому же я виновата (и какъ!) сражается, трудится, подвергается ежеминутной опасности! Въдь это не поэтическая фикція, а человѣкъ съ руками и ногами, отецъ Сережи, Алексѣй Петровичъ, тамъ, въ походѣ! Вспоминаю его лицо, его привычки, выраженія, что-нибудь самое домашнее, потому что, тѣмъ дѣйствительнѣе мнѣ кажется тогда война. Да, да, обыкновенный человѣкъ и онъ — герой. Если бы онъ до войны полгода говорилъ высокопарныя рѣчи, его геройство я сочла бы не настоящимъ. Гдѣ же Алексѣю Петровичу говорить восторженныя рѣчи? Навѣрное, и тамъ повторяетъ свои „видите ли“, „знаете ли“, а на отдыхъ откроетъ свою чайницу съ желтыми китайцами на крышкѣ и заваритъ крѣпкаго чая (Попова, 3 р. фунтъ), какъ и всегда. Милый! Какъ хорошо, что у него не красивое лицо! пріятное, симпатичное, но не красивое... По моему, есть какое-то неприличіе мужчинамъ, старше двадцати пяти лѣтъ, быть красивымъ. Это какъ-то не ихъ дѣло. Красивый мужчина — какой ужасъ! вродѣ, какъ скажутъ „альфонсъ“. А Ипполитъ — красивый, но это меня не коробитъ. Иногда

очень даже красивъ, когда онъ сидитъ такъ en trois quarts и свѣтъ сзади. Сколько ему лѣтъ кстати? Я думаю, не меньше тридцати. Боже мой! вѣдь я познакомилась съ нимъ только въ февралѣ, а между тѣмъ!.. Я не узнаю себя!.. Досадно, что Сережа все еще въ Царскомъ, я нервничаю, когда одна. Но, конечно, пусть лучше поправится! Ему тамъ хорошо: такъ спокойно, тихо, хотя дѣти не очень-то цѣнятъ покой. Я вспоминаю, какъ я бывала въ Царскомъ зимою. Видъ снѣжной равнины на меня всегда дѣйствуетъ неотразимо: какая нѣжность, умиление, прощенье!

Сегодня мои именины. Я не могла отказать Ипполиту приѣхать къ нему прямо изъ Царскаго. Казалось, спокойствіе желтѣющихъ аллея еще не окончательно покинуло меня, когда я подвѣзжала къ дому, гдѣ жилъ мой любовникъ. Ипполитъ ждалъ меня съ завтракомъ, казался нетерпѣливымъ и влюбленнымъ. Я видѣла, какъ горѣли у него глаза, которые онъ опускалъ каждый разъ, какъ замѣчалъ мои взгляды. Руки его слегка дрожали, наливая вино. Хотя я была увѣрена, что я — единственная причина этого волненія, но такъ ясно выказываемое, оно было мнѣ непріятно. Мнѣ, можетъ быть, нужно было просто отсидѣться, чтобы послѣ царскосельскаго настроенія перейти къ свиданію. Я сидѣла въ шляпѣ передъ холоднымъ каминомъ, спиною къ окну, стараясь не глядѣть, какъ хлопоталъ Ипполитъ.

— Кушать подано! — доложилъ онъ шутливо, руки по швамъ.

Но глаза держалъ опущенными, будто боясь, что я прочту въ нихъ слишкомъ ясное желаніе. Онъ — красивый, Ипполитъ, и при случаѣ можетъ быть забавникъ. Что-то я должна вспомнить! вотъ вертится... Ну, все равно, потомъ вспомню...

Завтракали торопливо. Пили за мое здоровье, и за его, и общее, и за нашу любовь. Взглянувъ, случайно, въ окно, я увидѣла сѣрое небо и мокрую крышу: идетъ дождь.

Однимъ лѣтомъ мы жили верстахъ въ пятнадцати отъ Пскова. Ѣздили въ городъ на лодкѣ, вотъ въ такую же погоду, на разсвѣтѣ. Промерзали всегда страшно. Вспомнила мужа, онъ тамъ зябнетъ въ окопахъ или въ пути. Стало непріятно, но это не

была жалость вслѣдствіе контраста, что вотъ, молъ, онъ тамъ зябнетъ и мерзнетъ, а я сижу въ теплѣ и пью вино съ чужимъ человѣкомъ. Нѣтъ, это было сложнѣе и проще, т. е. примитивнѣе. Просто Алексѣя Петровича я почувствовала необыкновенно роднымъ, какъ Серёжу, у котораго все мило и ничто не стыдно. Поэтому, можетъ быть, и не такъ интересно? Охъ, ужъ эта интересность!

— Вы не веселы сегодня, Анна Петровна, или что-нибудь васъ тяготитъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, увѣряю васъ.

— Отчего же тогда вы такъ грустны? Можно подумать, что вы разлюбили меня.

— Зачѣмъ же это думать? Увѣряю васъ, что я такая же, какъ всегда.

Ипполитъ пересѣлъ и обнялъ меня, я не двигалась, смотря въ окно.

— Вамъ скучно, что такая погода? Хотите, я спущу занавѣски и можемъ тогда, вообразить, что на дворѣ — вьюга, южная ночь, африканскій полдень, что хотите.

— Нѣтъ, не надо опускать занавѣсокъ, я и такъ могу вообразить, что угодно. Вотъ сообразить одной вещи я не могу: почему я здѣсь?

— Я что-то не понимаю. Какъ, почему вы здѣсь? — Отчего же вамъ и не быть здѣсь? Вы меня любите, я васъ обожаю... Что за мысль у васъ въ головѣ!

— Не то, не то... — прошептала я и встала.

— Что васъ тревожитъ, дорогая? обьясните мнѣ...

— Ахъ, Ипполитъ, я боюсь, что вы меня не поймете, или, что еще хуже, поймете не такъ, какъ слѣдуетъ.

— Когда же я васъ не понималъ, и кто можетъ лучше понять, какъ не тотъ, кто любитъ безъ мѣры?

— Тутъ дѣло совсѣмъ не въ вашей любви, а въ вашей тонкости, что ли...

— Ну, скажите, скажите!

Онъ снова сѣлъ ко мнѣ и обнялъ, говоря:

— Мы нервны сегодня, встали съ лѣвой ноги ради своихъ именинъ...

Онъ улыбался, нѣжась, какъ кошка и щекоча усами мою шею. Тихонько отстранивъ его, я сказала:

— Я не могу быть съ вами, Ипполитъ...

— Ну, какія сказки!

— Нѣтъ, это не сказки. Я говорю серьезно.

— Вы куда-нибудь торопитесь? Но какъ же было не устроить, чтобы сегодняшній день не былъ занятъ?

— Это не то.

— Что же?

— Я вообще не могу быть съ вами.

— Вы разлюбили меня! Но, Анна Петровна, вѣдь этого же не можетъ быть! это нелѣпо!..

— Я говорила, что вы все поймете шиворотъ-на-выворотъ.

— Но какъ же это прикажете понимать? Ясно же яснаго, что вы меня не любите больше.

— Совсѣмъ не то. Я не могу быть съ вами.

— Развѣ это не одно и то же? И потомъ, что случилось? Что произошло? Ну, успокойтесь, ну, расскажите мнѣ, въ чемъ дѣло.

Онъ такъ боялся, такъ волновался, что мнѣ сдѣлалось слегка неловко. Онъ былъ очень красивъ, но бесконечно далекъ. За окномъ, не переставая, шелъ дождь. Мнѣ дѣлалось просто скучно. Можетъ быть, Ипполитъ правъ и я разлюбила его, вѣдь иногда это случается очень неожиданно. Онъ ждалъ объясненій, но какъ объяснить то, чего сама не понимаешь?

— Но вѣдь вы же не могли меня разлюбить, а между тѣмъ вотъ уже третій вторникъ, съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ вашъ мужъ...

— Какъ третій вторникъ?

— Очень просто. Онъ уѣхалъ девятнадцатаго августа, а сегодня девятое сентября.

— Да.

Навѣрное, лицо мое изобразило радость, которая обманула Ипполита, потому что онъ вдругъ воскликнулъ:

— Ну, видите, какая вы нехорошая!

— Да, я очень нехорошая.

— И я былъ правъ, вы просто сегодня встали съ лѣвой ноги.

— Вы были правы: я совершенно разлюбила васъ, да, можетъ быть, никогда и не любила.

— Какъ это?

— Не надо говорить. Прощайте. Какъ хорошо, Боже, какъ хорошо!

Вѣроятно, Ипполитъ подумалъ, что я сошла съ ума. Я не знаю. Я не видѣла его съ тѣхъ поръ. Можетъ быть, онъ уѣхалъ. Но этотъ третій вторникъ былъ однимъ изъ самыхъ счастливыхъ дней моей жизни. И какъ хорошо, что раньше я ни въ чемъ не призналась Алексѣю Петровичу!



Т. В. СЛЁЗКИНОЙ.

П Я Т Ь
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ.

Высокій учитель чуть не свалился, запнувшись о тонкую бичевку, протянутую на четверть аршина отъ пола, одинъ конецъ которой былъ привязанъ къ классной доскѣ, другой же терялся подъ задними партами.

— Это еще что? — проворчалъ онъ, поправляя пенснѣ.

Изъ сдержаннаго смѣха и какого-то секретнаго оживленія, прошедшаго по классу, послышалось что-то вроде „минное загражденіе!..“

— Кто же долженъ получить за это минное загражденіе именинное награжденіе? — спросилъ учитель, раскрывая журналъ.

Онъ былъ признанный остроумецъ и старался держать себя по-русски, балагуромъ, хотя фамилія его была Цванцигъ.

— Убрать это сооруженіе: вы еще не въ дѣйствующей арміи. Навѣрное, это вы придумали, Оконниковъ, недаромъ у васъ такой сонный видъ.

— Я? Да почему я, Евгений Павловичъ? — оправдывался красный, слишкомъ высокій для всего пятаго класса, и, дѣйствительно, нѣсколько сонный мальчикъ.

— Ну, не вы, такъ Николаевъ.

— Нѣтъ, Евгений Павловичъ, это не я, — отвѣтилъ сухо болѣзненный, черненькій подростокъ и сейчасъ же опять опустился на скамью.

— Я вовсе не считаю васъ, государи мои, за какихъ-то особенныхъ шалуновъ или острыхъ разумомъ Платоновъ, но я, однажды, былъ случайнымъ слушателемъ вашего „политическаго“ разговора и, помня вашъ тогдашній воинственный азартъ, не удивился бы, если бы вы его примѣнили и въ нашемъ

„храмъ науки“, хотя наше заведеніе, особенно по составу слушателей, не болѣе, какъ преддверіе, антишамбръ настоящей науки, подлинная же тамъ, у бывшаго дворцоваго моста, гдѣ коллегіи почему и студенты до сей поры называютъ другъ друга коллегами...

Николаевъ нахмурился во время рѣчи Евгенія Павловича и не оборачивался на толчки, которыми старался привлечь его вниманіе, еще болѣе покраснѣвшій, Оконниковъ. Имъ было досадно, что ихъ разговоры, которые они считали необыкновенно важными и секретными, стали извѣстны, да еще такому болтливому человѣку, какъ Евгеній Павловичъ. Едва кончился урокъ, какъ они поспѣшно поднялись на верхнюю площадку лѣстницы, гдѣ никогда никого не было, такъ какъ ученикамъ ходъ туда былъ запрещенъ, да и ходить-то на эту площадку, на которой находилась только дверь въ инспекторскую квартиру, было незачѣмъ. Съѣвъ на подоконникъ, Николаевъ началъ озабоченно:

— Какая досада, что этотъ болтушка гдѣ-то подслушалъ, какъ мы сговаривались, Ильюша.

— Да, скверно! — отвѣтилъ тотъ довольно равнодушно.

— Да не скверно, а отвратительно, невѣроятная гадость. Во-первыхъ, это вообще неприятно, а во-вторыхъ, онъ можетъ донести инспектору, даже домой написать — съ него станется!

— Ну, что онъ тамъ слышалъ! Какіе-нибудь пустяки. Такъ болтаетъ. Въдъ мы въ училищѣ и говорили-то очень мало...

— Я удивляюсь тебѣ, Оконниковъ, какая ты рохля! А еще собираешься на такое дѣло...

— Какая же я рохля, Николаевъ? Но не могу же я кипиться по пустякамъ!

— Какъ по пустякамъ! Ну, что ты теперь дѣлаешь?

— Слушаю тебя.

— Ничего подобнаго, смотришь, какъ пригостишки въ снѣжки играютъ.

— Ужъ и въ окно не взгляни — какія строгости.

Оконниковъ покраснѣлъ и сѣлъ спиною къ стеклу, черезъ которое было, дѣйствительно, видно, какъ, соскребая снѣгъ съ мощенаго двора, бѣгали и визжали маленькіе реалисты въ длиннополыхъ, до пятъ, пальто. Николаевъ помолчалъ, но по-

томъ, видя, что его собесѣдникъ сидитъ не поворачиваясь, очевидно, смилостивился и началъ, хотя и суровымъ голосомъ, но который можно было принять и за дѣловой.

— Федора Цибулю видѣлъ?

— Видѣлъ.

— Говорилъ съ нимъ?

— Говорилъ.

— Какъ слѣдуетъ?

— Какъ слѣдуетъ.

— У меня тутъ еще одинъ кандидатъ есть отъ сапожнаго мастера. Можетъ быть полезенъ...

Оконниковъ, видя, что Вася даже посвящаетъ его въ свои планы, подобострастно замѣтилъ:

— Это вѣдь ничего, что отъ сапожника: намъ всякіе годятся.

Николаевъ только презрительно дернулъ острымъ плечикомъ, ничего не промолвивъ.

— Вотъ Федя хотѣлъ привести ко мнѣ даже не отъ сапожника, а просто мальчика, никакого.

— То есть, какъ никакого?

— Онъ — ничей и нигдѣ не живетъ.

— Хулиганъ, что ли?

— Вродѣ того, хотя фамилія его — Разумовскій.

— Это ничего не значитъ. У тебя, Оконниковъ, хоть ты изъ купцовъ, ужасно аристократическія воззрѣнія. Не понимаю, откуда это? Или отъ твоей глупости?

— Что же я дуракъ, по твоему?

— Не уменъ. Да это, можетъ быть, еще лучше. Ты не унывай и не обижайся.

Видя, что товарищъ изъ купцовъ надулся, Николаевъ примирительно заключилъ:

— Такъ завтра на дворѣ у васъ, за сараемъ. Только ты постарайся денегъ достать.

— Дуракъ, дуракъ, а денегъ доставать, такъ я долженъ!

У Оконниковыхъ уже чувствовалась близость праздниковъ: бабушка и мать постились, отецъ позже запираетъ лавку и дома долго еще щелкалъ на счетахъ, вездѣ былъ какой-то особенный беспорядокъ, пыль и заустѣніе, которые копятъ будто

для того, чтобы разительный был контраст с праздничной чистотой. И на Ильюшу как-то меньше обращали внимания, хотя и вообще он не мог пожаловаться на излишнюю опеку. Так, когда попадетя отцу на глаза, тот скажет: „Учись, учись, Илья! Нечего слонов продавать, а то сейчас в кассу посажу!“ Мать увидит, — найдет, что Ильюша худеет, мало ест. Бабушка проворчит, что не крестясь за стол садится, — но все эти замечания были мимолетными и сейчас же забывались, вовсе не предназначаясь для скорого исполнения. Зайдет ли в которую-нибудь из двух комнат, называемых „молодцовская“, где в одной на двух кроватях помещались два холостые приказчика, в другой на двух же кроватях четыре мальчика, по двое на каждой, — сейчас к нему с вопросом: не получил ли Илья Васильевич кола, не побил ли его кто и т. п. Теперь же там больше занимались политикой по „Петроградскому Листку“, а если и играли на мандолинах, то не прерывали этого занятия при приход хозяина сына, лишь очищая ему место на твердом диване. Оконников все высчитывал, сколько он получит к празднику: от отца, — пять рублей, от матери — три, от старшего брата — рубль, от бабушки — полтинник. Из них нужно молодцам купить орехов. Всего девять рублей останется — не больше. Канарейку, что ли, продать? Заметят... Нужно рублей двадцать достать, на остальных компаньонов плоха надежда. Войти раз в соглашение с Прохором Ивановичем, взять из магазинной кассы? Потом вернет, конечно... Да если бы отец знал, он сам не пожалел бы!... Нет, открываться никак нельзя, уже по одному тому, что он дал Николаеву клятву не делать этого. Ильюша с тоскою посмотрел на сухое лицо Прохора, причесывавшагося гребешком. Нет, тот не согласится. В комнатах было тепло, в соседней мать с бабушкой уже совещались о праздничных покупках, а там-то, наврное втер свист, пули, снег!.. Не будет мягких подушек в полосатых наволочках, ни пирогов по праздникам, ни матери, ни бабушки, ни канареек, ни Прохора Ивановича, — даже ничего не будет!.. Но будет что-нибудь другое! Не может быть, чтобы так-таки ничего

не было. Но неизвѣстное пугало Ильюшу, обладавшаго отъ природы нѣжною и нѣсколько робкою душою. Нельзя, однако, сказать, что къ тому шагу, на который онъ рѣшился, подстрекнули его слова Николаева, который вообще всегда и всѣмъ былъ недоволенъ. Нѣтъ, впервые подвигли къ отвагѣ и риску кроткаго Ильюшу безформенные, похожіе одинъ на другого, гдѣ кромѣ типографскихъ грязныхъ пятенъ почти ничего нельзя было разобрать, портреты въ „Петроградскомъ Листкѣ“. Юные герои: гимназисты, реалисты, казачки, просто такъ мальчишки, шестнадцати, четырнадцати, двѣнадцати и даже десяти лѣтъ. Оконниковъ не только научился видѣть глаза и носъ въ сплошной сѣрой грязи, но даже различалъ одного героя отъ другого, помнилъ ихъ имена и все воображалъ себѣ подпись: „Оконниковъ, Илья, пятнадцати лѣтъ“. Иногда онъ произносилъ вслухъ эти слова и прислушивался: будто вдали по Кирочной идутъ солдаты, а у Спаса Преображенья звонятъ къ вечернѣ. Совсѣмъ другое впечатлѣніе на Ильюшу производятъ слова: „Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго“. Это онъ произноситъ истово, будто читаетъ Апостола и съ трудомъ удерживается, чтобы не прибавить „вонмемъ“. И простыя, сдержанныя, русскія торжественныя слова донесеній несутъ въ себѣ необыкновенную убѣдительность и возвращаютъ каждому слову его точное, первоначальное значеніе, такъ что, когда тамъ читаешь „лихая атака“ то знаешь, что это — не красота стили беззаботнаго корреспондента, а подлинно „лихая атака“ — ничего больше, но и ни на пядь меньше. Гдѣ бы ни видѣлъ Ильюша хотя бы клочекъ газеты съ этими строчками, печатанными жирнымъ шрифтомъ, на него находилъ какой-то туманъ и нѣсколько сонный восторгъ, — и тогда бабушка, пироги, подушка — казались неважными, ни переставая быть милыми, а настоящее, торжественное, суровое и блистательное — тамъ. Неужели онъ, Ильюша Оконниковъ, поминутно краснѣющій, откормленный ватрушками, да блинчиками, сможетъ хотя бы подержаться за ту завѣсу, за которой все важное, божественное и слушая о чемъ всегда нужно про себя вымолвить: „премудрость прости!“

А десять-то рублей взять негдѣ! Дня черезъ два нужно бѣжать, гдѣ же ихъ взять? Ильюша съ тоскою обвелъ глазами

свою комнатку: широкая кровать, сундукъ, ломберный утлый столикъ съ тетрадами и книгами, Казанская въ углу, закрытая клѣтка у окна, ремень на полу... Гдѣ же десять рублей?

Въ дверь бокомъ вползла мать, держа руку въ карманѣ, гдѣ тихо звякали ключи.

— Ильюша, ты не спишь?

— Нѣтъ, мама, — отвѣтилъ тотъ, вставая.

— Вотъ что, другъ мой... Сослужи мнѣ службу. Скоро праздники, а сама я въ этомъ не понимаю... по секрету надо сдѣлать... какъ пойдешь изъ училища, зайди къ Виноградову и купи гармонь молодцамъ. Я не знаю, какую надо. Самъ выбери... И незамѣтно съ черного хода пронеси. Я встрѣчу и гармонь спрячу. Очень имъ хочется, да мнѣ и самой мандолина-то надоѣла. Вотъ тебѣ десять рублей, завтра, или послѣ завтра, какъ улечишь время и сходи. Понялъ? — спросила она, видя, что Ильюша, зажавъ бумажку, ничего не говоритъ.

— Понялъ.

— Хорошую выбери, попробуй.

— Попробую.

— Деньги-то не потеряй.

— Нѣтъ, нѣтъ, — пробормоталъ Ильюша, крѣпче сжимая бумажку и глядя на лампадку передъ Казанской.

Вася Николаевъ занимался политикой и чтеніемъ газетъ совсѣмъ иначе, чѣмъ Оконниковъ Ильюша. Можетъ быть, это происходило оттого, что онъ читалъ другія газеты, а можетъ быть, отъ разности характеровъ и домашней обстановки. Сынъ небогатаго чиновника, недовольнаго и своимъ положеніемъ, и начальствомъ, и всѣмъ на свѣтѣ, такъ какъ приходилось еле-еле сводить концы съ концами, Вася привыкъ къ секретному фрондерству и къ тому, что называется, держать кукишъ въ карманѣ, но у него по молодости лѣтъ этотъ кукишъ часто вылезалъ и наружу. Онъ все бранилъ, причемъ такими газетными выраженіями, что прослылъ мальчикомъ умнымъ, самостоятельнымъ и чуть-чуть опаснымъ. Главнымъ его удовольствіемъ было умничать и командовать, будто этимъ онъ возмѣщалъ хотя бы отчасти разныя домашнія, несправедливыя, по его мнѣнію, недостатки. Стремленіе начальствовать подружилось

его съ Оконниковымъ, желанье же быть самостоятельнымъ и протестовать побудило къ побѣгу. Побѣгъ — всегда протестъ. И въ предполагаемой компаніи онъ, конечно, будетъ главой, вдохновителемъ и распорядителемъ. Его черные глазки горѣли, и въ разговорахъ на дворѣ за сараемъ сквозь избитыя газетныя фразы чувствовалось настоящее одушевленіе.

Въ назначенное время Николаевъ явился со своимъ кандидатомъ, Петромъ Ямовымъ, сапожнымъ подмастерьемъ. Пѣвчій, Ѳедоръ Цибуля пришелъ самостоятельно. Наконецъ, прибылъ и Оконниковъ въ сопровожденіи „просто такъ“ мальчика лѣтъ четырнадцати на видъ, но который увѣрялъ, что ему всѣ семнадцать, Николая Петровича Разумовскаго. Разумовскій, несмотря на драный костюмъ и неопредѣленное положеніе, имѣлъ видъ менѣе забитый и отчаявшійся, нежели пѣвчій и сапожникъ. Приключенія и необходимость жить своимъ умомъ развила въ немъ сообразительность практическую въ отличіе отъ теоретическихъ умничаній Васи Николаева. Послѣдній мелькомъ взглянулъ на вновь пришедшаго и, сухо молвивъ „здравствуй“, сунулъ ему свою руку. Очевидно, Разумовскій ему не понравился, потому что съ послѣдующими словами онъ обращался все къ двумъ другимъ подначальнымъ, будто Оконникова и его протеже здѣсь совсѣмъ не было:

— Теперь всѣ въ сборѣ?

— Всѣ.

Затѣмъ въ краткой рѣчи Николаевъ напомнилъ объ общемъ планѣ, указавъ на всю значительность ихъ предпріятія, на возможную славу, назначилъ, что каждому дѣлать и ясно далъ понять въ концѣ, что, какъ во всякомъ дѣлѣ, имъ нужно согласіе, которое скорѣе всего достигается добровольнымъ подчиненіемъ кому-нибудь одному.

Оконниковъ задумчиво сгребалъ пальцемъ снѣгъ съ полъницы и размышлялъ, почему Васины слова совершенно не производятъ такого дѣйствія какъ печатныя донесенія, — никакой торжественности нѣтъ, а только чувствуешь досаду, зачѣмъ это такъ трескуче и не по-настоящему. Неизвѣстно, что думали остальные бѣглецы, но когда Николаевъ умолкъ, Разумовскій спросилъ прямо къ дѣлу:

— Деньги-то на дорогу есть?

— Найдутся, — надменно отвѣтилъ атаманъ.

— То-то, а то безъ денегъ недалеко уѣдешь.

— Вотъ я шестьдесятъ семь копѣекъ принесъ, — прошепелявилъ сапожникъ и передалъ пригоршню мелкихъ денегъ Николаеву.

— У меня тоже рубль есть, — проговорилъ Цибуля, но денегъ не вынулъ.

— У меня девятнадцать рублей набралось, — объявилъ, покраснѣвъ, Оконниковъ и открылъ было кошелекъ, но Николаевъ остановилъ его, говоря:

— Не надо отдавать, наоборотъ возьми и у другихъ, ты будешь нашимъ казначеемъ. Вотъ мои пять рублей. Господа, давайте Оконникову у кого сколько есть!

Съ избраніемъ Ильюши въ казначеи, вообще началось болѣе точное распредѣленіе должностей. Самъ Николаевъ, конечно, оказался вдохновителемъ, администраторомъ и заправкой, на сапожника возложили обязанность чинить въ дорогѣ ихъ платье, вообще слѣдить за гардеробомъ. Цибуля вызвался заботиться о пропитаніи, а кромѣ того сказалъ, что, если денегъ не хватитъ, то онъ можетъ по дорогѣ „славить Христа“.

— Кому Христа-то будешь славить? Нѣмцамъ, что-ли? Нѣтъ, ужъ если монетъ не будетъ хватать, или чего тамъ другого, то я вамъ достану! — возразилъ Разумовскій.

— Ты достанешь? Какъ не достать! Воришка ты, больше ничего. Смотри, Оконниковъ, у тебя бы онъ не стащилъ!..

— Зачѣмъ же я буду свои собственные таскать? А если бы и случилось, то это все равно, что изъ одного кармана въ другой переложить.

— Однимъ словомъ, теперь вамъ все извѣстно, — прекратилъ пререканія Николаевъ, — завтра на Варшавскомъ вокзалѣ. На Варшавскомъ, не на Балтійскомъ. Ты, Оконниковъ, приходи раньше съ Цибулей и Разумовскимъ и возьми билеты, а я приведу Ямова. Поняли?

Очевидно, всѣ поняли, потому что, когда на слѣдующій день Николаевъ съ сапожникомъ подходили къ вокзалу, у подѣзда ихъ встрѣтилъ Цибуля и повелъ внутрь, гдѣ въ длин-

номъ хвостъ передъ кассой стоялъ Ильюша, а Разумовскій караулилъ какіе-то узелки.

— Это чьи-же вещи? — спросилъ администраторъ, указывая на свертокъ въ темномъ платкѣ съ цвѣточками.

— Это нашъ казначей привезъ. Не знаю, что тутъ у него находится.

— Тутъ думку я захватилъ съ собою, — объяснялъ подошедшій съ билетомъ Оконниковъ, — поѣсть кое-что и перемѣна бѣлья.

— Запасливый малый! — сказалъ Разумовскій.

Но Николаевъ даже не улыбнулся, а тотчасъ сталъ вполголоса дѣлать распоряженія. Онъ былъ блѣденъ и страшно серьезенъ. Оконниковъ казался заплаканнымъ. Остальные имѣли видъ довольно обыкновенный. Когда поѣздъ тронулся, Ильюша и пѣвчій перекрестились.

— Бабушка научила? — спросилъ сапожникъ.

— Чего это?

— Креститься.

— Я самъ знаю.

— Ничего, ничего, казначей! — подбодрялъ его Разумовскій: — это не мѣшаетъ. Скоро вѣдь сдѣлаемся „христолюбивымъ воинствомъ“.

Однако, самъ не послѣдовалъ Ильюшину примѣру. Николаевъ все сговаривался, что отвѣчать, если въ дорогъ ихъ будутъ спрашивать, куда они ѣдутъ. Но они не успѣли рѣшить, такъ какъ въ вагонъ уже входили для провѣрки билетовъ. Старый служащій, посмотрѣвъ поверхъ очковъ на пятерыхъ путешественниковъ, спросилъ:

— А большихъ съ вами никого нѣтъ?

— Нѣтъ, — бойко отвѣтилъ Николаевъ.

— Куда же вы всѣ ѣдете?

— Въ Кіевъ къ дядѣ, — вдругъ отозвался для всѣхъ неожиданно Цибуля.

— Что же, вы всѣ родня между собою?

— Кто-таки родня, а кто такъ, по-сосѣдски... — продолжалъ, не смущаясь, пѣвчій.

— Почему же у васъ билеты въ С., разъ вы ѣдете въ Кіевъ?

— Тамъ на лошадахъ доберемся.

Служащій помолчалъ немного, потомъ произнесъ:

— Знаете что, господа? Мнѣ, конечно, все равно, но можетъ случиться, и даже очень можетъ, что къ вамъ кто-нибудь другой обратится съ тѣми же вопросами, такъ вы придумайте что-нибудь посуразнѣе.

Когда служащіе ушли, Николаевъ набросился на пѣвчаго, зачѣмъ тотъ, не сговорившись съ другими, отвѣчалъ на разспросы.

— А что жъ такое? Видишь, какъ складно все вышло. А покуда мы сговаривались бы, насъ бы всѣхъ арестовали.

— Положимъ, вышло совсѣмъ нескладно, — процѣдилъ Разумовскій, — но насчетъ сговоровъ Цибуля совершенно правъ: когда очень приспичитъ, нечего ужъ сговариваться, нужно каждому свое воображеніе имѣть.

— Но какой же выйдетъ порядокъ, если вы меня не будете слушаться? — не унимался Николаевъ.

— При случаѣ и порядку отмѣна бываетъ, — оправдывался Цибуля, радуясь поддержкѣ.

Разумовскій съ Ильюшей легли наверхъ, остальные расположились внизу, серьезные и взволнованные.

Неизвѣстно, спали ли нижніе путешественники и слышали ли они тихій шепотъ, которымъ долго наверху шелестѣли Ильюша съ сосѣдомъ. Навѣрное, имъ не снилось финала, который ихъ ожидалъ тотчасъ по пробужденіи. Для любого самаго прозаическаго сна, было слишкомъ непоэтично лицо жандарма, потребовавшаго паспортовъ отъ нашихъ пассажировъ, а самихъ путниковъ пригласившаго въ станціонную комнату. Пошло за нимъ только трое: Николаевъ, сапожникъ и пѣвчій; Разумовскій и Ильюша куда-то пропали.

— Вотъ всегда такъ! — ворчалъ Николаевъ, шагая передъ жандармомъ, — никакого порядка. Сколько разъ я говорилъ, что надо держаться всѣмъ вмѣстѣ, не разбиваться. А теперь что же? Мы здѣсь, а они неизвѣстно гдѣ.

— Можетъ быть, трусили, ночью вылѣзли, да вернулись. Деньги-то всѣ были у Оконникова... — апатично предположилъ Цибуля.

— Ужасно досадно! А потому что всѣ врозь, никто не слушается!

— А насъ теперь что, домой вернуть? — интересовался сапожникъ.

— Почему я знаю! — нетерпѣливо отвѣтилъ Николаевъ, но по всему было отлично видно, что, если онъ не зналъ, то прекрасно предполагалъ, что съ ними сдѣлаютъ.

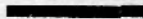
Ихъ, дѣйствительно, благополучно вернули въ Петроградъ къ родителямъ, а тѣ двое такъ и пропали. Въ городъ ихъ не оказалось и вообще ничего не было о нихъ извѣстно, пока у Оконниковыхъ не было получено письма отъ Ильюши, въ которомъ онъ чистосердечно просилъ прощенья за то, что не купилъ гармоніи и рассказывалъ, какъ онъ добрался до позиціи. Письмо это читалось и всѣми вмѣстѣ, и каждымъ членомъ дома отдѣльно, потомъ перешло въ молодцовскую, Прохоръ Ивановичъ читалъ его кухаркѣ, затѣмъ носили его по знакомымъ домамъ и сосѣднимъ лавкамъ, пока не выучили почти наизусть. Затѣмъ свѣдѣнія прекратились до самой той поры, когда исполнилась мечта Ильюши и его портретъ съ грязнымъ пятномъ вмѣсто носа не появился въ „Петроградской Газетѣ“ съ совершенно такою же подписью, какъ ему представлялось: „Оконниковъ, Илья, 15 лѣтъ“. Тутъ вдругъ даже Ильюшина мать получила способность разбирать газетные снимки и, еще не читая подписи, воскликнула: „Господи помилуй! Ужъ это не Ильюша ли здѣсь нарисованъ?“

И опять листокъ запутешествовалъ изъ хозяйскихъ комнатъ въ молодцовскую, потомъ на кухню, по сосѣдямъ и знакомымъ, на праздникахъ его показали даже Федору Цибуль, пришедшему Христа славить.

— Илью нашего видалъ? — спросила Оконникова пѣвчаго, подавая ему замусоленный газетный листокъ.

— Оконниковъ Илья, — прочиталъ тотъ и вздохнулъ.

— А мы вотъ не сподобились. Кому какая судьба! а все Николаевъ этотъ егозилъ — вотъ ничего и не вышло.



Содержаніе.

Ангелъ сѣверныхъ вратъ	5
Серенада Гретри.	19
Пастырь воинскій	33
Кирикова лодка	43
Правая лампочка	51
Два брата	59
Третій вторникъ	73
Пять путешественниковъ	85

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

СТИХИ.

- Сѣти** („Скорпіонъ“. М.) — 1 р. 50 к.
Осеннія озера („Скорпіонъ“. М.) — 1 р. 80 к.
Глиняныя голубки (изд. М. Семенова) — 1 р. 50 к.

РОМАНЫ, ПОВѢСТИ, ПЬЕСЫ.

- I книга рассказовъ** (Приключенія Эме Лебефа, „Крылья“) („Скорпіонъ“) — 1 р. 50 к.
II книга рассказовъ (Подвиги Александра, Нѣжный Іосифъ) („Скорпіонъ“) — 1 р. 50 к.
III книга рассказовъ (Путешествіе Фирфакса, Мечтатели) („Скорпіонъ“) — 1 р. 80 к.
Покойница въ домѣ (М. Семенова) — 1 р. 25 к.
Плавающіе, путешествующіе (М. Семенова) — 1 р. 50 к.
Комедіи (Оры) — 80 к.
Венеціанскіе безумцы (Альціона). Печатается.

МУЗЫКА.

- Куранты любви** („Скорпіонъ“) — 3 р.
Духовныя стихи (Циммерманъ) — 4 р.
Съ Волги (Циммерманъ) — 2 р.
Гавоть и Пavana (Циммерманъ) — 50 к.
Пѣсенки (Давингофъ) — по 50 к.
-

